

Феликс Козн



Страсти по Ольге

**Феликс Коэн**

# **Страсти по Ольге**

Грех сострадания

Санкт-Петербург  
2009

Коэн Ф. Страсти по Ольге. Грех сострадания.  
СПб., 2009. — 192 с., ил.

Обложка и иллюстрации А. Заславского

ISBN 5 86197-062-10

© Коган Ф. Д., 2009

© Заславский А., обложка, ил., 2009

Одни поэты уже рассказали это сказание,  
другие — теперь рассказывают,  
а третьи ещё будут рассказывать его на земле  
*Вступление к «Махабхарате»*

Посадка на самолёт в Баку закончилась. Как раз на мне. Ну, это как обычно.

Со мной оказалось ещё шесть человек. Семёрка — счастливое число.

При этом мой рюкзачок уже уехал в багаж. Нам сообщили, что пока нет вакансии. Какой вакансии и почему как раз для нас её нет, было непонятно. Билеты-то у нас были.

Может быть, опасаются теракта? Тогда всё равно жалко рюкзачок.

Прошло более получаса с объявленного времени вылета. Мы в недоумении стояли у стойки, уже пройдя таможенный контроль.

Появились каких-то два молодых человека, непрерывно разговаривающих по мобильному телефону. Со всеми, кроме нас. Нас они не замечали.

Наконец выяснилось, что наш аэробус заменили меньших габаритов «Боингом», который не мог принять столько багажа, сколько было у пассажиров.

Разговаривая по телефону и между собой, молодые люди почему-то называли наш самолёт ласково «маленьким гробиком».

Почему — мы узнали позже.

Прошло ещё около получаса. Наконец, разрешили посадку всем, предварительно скинув с самолёта багаж нескольких уже севших пассажиров.

Нас подвезли к небольшому летательному аппарату, стоявшему далеко в стороне, по-видимому, чтобы его никто не заметил.

«Маленький, зато старый», — с удовлетворением подумал я. Поскольку вообще люблю антиквариат.

Создавалось впечатление, что этот аппарат возил ещё президента Рузвельта на Ялтинскую конференцию союзников по антигитлеровской коалиции.

Правда, покрашен был недавно.

Самолёт минут сорок катался по лётному полю, то со скрежетом тормоза, то со скрипом разгоняясь. Видимо, экипаж хотел убедиться, что шасси не развалится ещё при взлёте.

Наконец, «Боинг» вырулил на взлётную полосу и, отчаянно взревев двигателями, бросился вперёд, содрогаясь.

К всеобщему удивлению он оторвался от взлётной полосы и понёсся над землёй, треща крыльями и мотаясь, как птеродактиль.

А вот набрав высоту, полетел абсолютно ровно и стремительно, как камень, выпущенный из пращи. Очевидно от перегруза. Нет сомнения, американцы в те времена делали надёжную технику.

Обезумевшие от страха пассажиры, немного успокоились и, поспешно проглотив постоянно присутствующую курицу с рисом и чай, немедленно заснули от психического переутомления.

Мне не спалось, и я вспомнил...

Пару лет назад на улице, около «фонарных» бань, я встретил того самого господина, близкого художни-

кам, с которым мы неоднократно виделись и который рассказал мне однажды историю, послужившую сюжетом для моей предыдущей книги.

Он мало изменился внешне, только сильно прихрамывал.

Мы остановились поболтать.

«Вы знаете, я прочёл вашу книжку. Мне понравилось, как вы сразу, на взгляд, определили, что я врач. Дело в том, что я и сам немного пишу. Но рассказываю лучше. Мне кажется, у меня есть ещё одна странная больная история, которую я записал. Рассказывать её долго, но записи как раз со мной. Как рояль под кустом», — он улыбнулся и протянул мне папку для бумаг, перевязанную тесёмками.

«Буду признателен, если вас заинтересует, и вы напишете».

«А почему вы сами не хотите написать?»

«Я пытался, но мне не нравится. И потом, я пишу спорадически. Впрочем...»

«Нет-нет, что вы, я с удовольствием ознакомлюсь».

Любопытная данность — годы.

В детстве выходишь из своего дома на улице Жуковского, идёшь налево до Знаменской, по ней — до Невского, затем по Невскому и Маяковской назад до Жуковской. Каре.

Или, наоборот, — свернул по Жуковской направо до Маяковской, по ней до Пестеля и снова налево, мимо храма, затем мимо дома, где жил Бродский, мимо Пантелеймоновской церкви до Фонтанки, затем опять налево в сторону Невского, мимо Михайловского замка и цирка на той стороне реки — до улицы Белинского,

сворачиваешь опять налево к Литейному, по которому направо доходишь до Жуковской и по ней налево к дому.

Входишь в свою квартиру и, посмотрев в зеркало, видишь, что несколько десятков лет прошло и старость, а возможно и последующее, не за горами.

Скажешь зеркалу какую-нибудь фразу, определяющую твою сущностную трусость и душевную гниль, например: «Да, жизнь проходит». И всё.

И единственное, что успеваешь, — это увидеть несколько ярких свечений, несколько бликов на тускло окрашенной проносающейся поверхности жизни и запомнить несколько эпизодов, несколько историй.

Недавно «фонарные» бани горели.

Что это — намеренный поджог или случайность — никто не знал. Бани были большим лакомым куском для строительных фирм. Расположенные в историческом центре города, на берегу Мойки, они постоянно погружали в тревожную задумчивость предприимчивых дельцов и госпожу губернатора. Найти застройщика, таким образом, больших трудностей не представляло.

Можно, например, писать пейзажи под руководством патентованно-талантливого «Митька» Мити. И тут же продавать их за несколько миллионов долларов или евро. Покупатель на холст объявляется так же быстро, как и новый стеклянный урод в центре города.

Так что, скорее всего, «фонарным баням» и целому пласту русской петербургской градостроительной культуры пришёл каюк.

А страна, руководимая любимым народом президентом, упорно двигалась к процветанию, что, как всегда, было незаметно.

И наступила суетливая пора президентских выборов. Президент, несмотря на призывы любящего его народа, никак не хотел нарушать Конституцию и оставаться на третий срок. Просто хоть режь — не оставался и всё. Ни за что.

Что президент предпримет, чтобы, несмотря на формальный уход, остаться во власти, было не совсем ясно. Но ясно было, что останется как вследствие, так и вопреки.

«А что же мы будем делать, если он уйдёт?» — беспокоился народ. А что и всегда — ничего.

С этим ничего не поделаешь.

Эта суета напоминала народное наблюдение, озвученное тогда же: «Если чайка летит жопой вперёд, значит сильный ветер».

Ложный и гнилой ветер перемен действительно уже поднимался.

Что же касается истории вышеупомянутого господина, то я уже начал её читать.

И сейчас, открыв папку, углубился в чтение. Я уже дочитал до места, где он знакомит со своим творческим методом, а именно до слов: «пишу, когда пишется»...

В это время в лайнере прозвучала команда: «Пристегнуть ремни, убрать выдвижные столики, поднять спинки сидений», — и самолёт грохнулся о бетонную полосу.

Громыхая колёсами и подскакивая, он понёсся боком по посадочной полосе, у края которой внезапно остановился, а затем медленно поковылял к приёмному терминалу, сорвав аплодисмент у очумевших пассажиров.

На аплодисмент вышел командир экипажа и раскланялся.

Нас, не веря своим глазам, радостно встретили служащие аэропорта: не глядя в документы, пропустили через паспортный контроль, немедленно, чего никогда не бывало, выдали багаж и, очевидно, облегчённо вздохнули, когда мы покинули аэропорт.

Водитель, который ждал меня как обычно, довёз до работы. Я думал о рассказанной моим знакомым истории. Потом, в Петербурге, я опять к ней вернулся.

Часть первая

Страсти



Он не помнил, как и вследствие каких событий очутился здесь, в глухом месте, как ему казалось, на острове, в огромном, совершенно неизвестном ему озере.

Он полулежал на большом сером валуне у самой воды под низким тяжёлым небом. Было холодно. Сырой ветер пронизывал зелёную солдатскую плащ-палатку и тёплый байковый спортивный костюм, проникая до висящей на костях кожи. Казалось, ветер проморозил его навсегда.

Ворочаясь, он пытался согреться, но не мог: каждое движение причиняло страдание — из-за холода, из-за боли в спине и суставах.

Когда проглядывало солнце и становилось теплее, он пытался оглядеться и понять, кто он и где находится. Ему казалось, что он сам, его одежда и окружающая его местность не были настоящим, привычным ему существованием. Не были его местом.

Изредка виделся какой-то город, столь близкий, что определённо он жил в нём. Огромный и таинственный, расположенный на берегах бесчисленных речек и каналов, разбитый на острова, прорезанный ровными улицами и строгими набережными, укутанными в вечный гранит, этот город, погружённый в своё величие и отчуждённость, и был его местом.

Он вспоминал, как люди в толпе и в бесконечных потоках транспорта вдруг останавливали взгляд на зданиях, памятниках или набережных города и на мгновение замирали, давая проникнуть в их суетливые сердца щемящему ощущению безвременья и покоя.

Эти люди называли себя «петербуржцами».

Низкое, северное, постоянно меняющееся небо сливалось с городскими зданиями, дворцами и памятниками, чтобы жить с ними чувством единства и соразмерности.

В нереальном сумеречном свете летних ночей, которые там назывались «белыми», город освобождался от шума гудков, треска моторов, дыма и гари разрушающего его плотного и бесконечно надоедливого потока машин. На улицах, площадях, мостах и набережных можно было видеть группы людей, замерших в немом изумлении. Этот город вызывал восхищение и любовь.

Потом вспоминались лица людей ему близких, но виделись неотчётливо и быстро исчезали, оставляя чувство досады. Затем память упиралась в какую-то стену, проникновение за которую было болезненным. Он чувствовал, что за этой стеной имеется что-то женское, возможно имя, которое и является причиной его бедственного положения, и чтобы всё понять, имя необходимо вспомнить.

«А как я выгляжу? Я не помню». — Он с трудом подвинулся на валуне и заглянул с него в спокойную гладь озера, где увидел морщинистое лицо с неряшливой запутанной бородой и шапку ушанку, несмотря на лето, торчащую из-под капюшона.

«Старик, совсем старик», — подумал он.

Он хотел было улыбнуться, чтобы увидеть зубы, потому что вспомнил, что возраст лошадей определяется по зубам, но не смог — закружилась голова, и он поспешно отодвинулся от воды. Потом он попытался определить зубы на ощупь, пальцем, но такому исследованию вряд ли можно было доверять из-за плачевного положения его трясущихся рук.

Вокруг него и на том берегу широкого залива, и на многочисленных островах, иногда просто представлявших собой огромный лежащий камень, с непонятно каким образом вырастающим из него одиноким деревом, царил хаос из крупных серых валунов, заброшенных сюда (он это где-то читал) по прихоти исполинского ледника, много-много лет назад проползшего тут.

Сразу за камнями начинался густой, преимущественно сосновый лес. В некоторых местах прямо из воды вставали серые скалы, заканчивающиеся соснами, растущими прямо из камня совершенно противостоенно.

«Как из камня может произрастать такой густой лес?» — задумался он.

Потом его отвлекала боль. Иногда ему казалось, что болело всё. В то же время деятельность многих органов — он старался за этим следить — казалась совершенно сохранной.

«Вселяет ли это надежду? — подумал он. — Да никакой!»

Он с раздражением отметил, что всегда, когда пытается понять окружающее, его мысли концентрируются на анализе собственных физических проблем, которые пока, как ему казалось, были неразрешимы.

«Нужно выживать, — уныло думал он, — хотя, скорее всего, это уже бессмысленно. Но жить, чтобы вспомнить — в этом есть смысл».

Потом в мозгу старика неожиданно засветилась картинка: какой-то немолодой человек, укутанный простынями и вследствие этого похожий на Козьму Пруtkова, задает вопрос: «А кто из нас на самом деле может сказать, что он правильно пользуется?» — и сам же себе отвечает: «Никто». Он чувствовал, что этот человек недавно был ему очень близок, но кто он и чем занимается, вспомнить никак не мог. «Может быть, потом вспомню?» — Он почувствовал голод и посмотрел на хижину, стоящую в лесу.

С трудом поднявшись, он медленно побрёл к дому.

Хижина оказалась не очень старой и довольно чистой. Очевидно, он её убирал, правда, не помнил, когда. В углу у печки лежали дрова. Справа у стены стоял диван, а перед ним небольшой столик. На нём лежали книги и листы писчей бумаги.

«Зачем мне всё это?» — силился вспомнить он.

Он свыкся со своим одиноким, бездеятельным существованием, но книги и бумага на столе наводили на мысль, что жизнь, которой он сейчас живёт, ему не свойственна, и тогда он ощущал себя другим человеком в другом мире, вспыхивающим мгновенно и исчезающим.

Эти всполохи памяти он пытался связать и осознать. В памяти всплывала какая-то женщина, которую он видел неотчётливо и как её зовут, не знал.

Ключ к пониманию, казалось ему снова, был именно в этом забытом женском имени, которое вспомнить

необходимо, потому что оно объясняло всё: и как он попал сюда, и причины, и возможность возвращения в тот настоящий мир, который и есть он.

«Как я всё-таки оказался здесь? Как давно? И за что? За какие грехи? Ведь я жил, как мне кажется, совершенно другой жизнью! А эта жизнь мне непонятна. Верни мне память, Господи! Я должен вспомнить! Ладно, пусть боль останется, только память верни!»

Он сел на диван не раздеваясь и стянул сапоги. Из рваного носка кукушкой выглянул серый палец.

«Ноги нужно помыть, нагреть воды, налить в таз — и помыть. Но таз мне не поднять. Даже этого мне не сделать. Я совсем бессилен. Больной, старый человек. Безразличный», — равнодушно подумал он. Со стоном натянул сапоги.

«Какое-то женское имя! Женское имя! Вот в чём дело!!

Вспомнить имя — и тогда всё станет ясно. Это понятно». — Он приободрился. Но при попытке вспомнить страх и омерзение охватили его, и открывшаяся было тропинка памяти исчезла.

«Что же сотворила эта женщина, или я, или мы вместе, чтобы вот так беспмятным комком боли очнуться в этой глуши?» — мучился старик.

«Печать Каина лежит на всех нас от начала, — отпечаталось в мозгу. — Грех предательства. Иудин грех».

«Так кто же меня предал, или кого предал я? И если это женщина, если это она, то как тебя зовут, кто ты?! И причем здесь братоубийство? Дай вспомнить, Боже, иначе умру. Почему же ты не даешь! Возможно, это смертельно?..»

На стенах висели картины, а у стены, напротив дивана, под лестницей к люку на второй этаж, стоял мольберт.

«Это ещё зачем? Ведь я же не художник? Совершенно точно не художник».

Среди прочих холстов имелись два: маленькие тёмные коровки с большими печально повисшими головами.

«Это Фигурина», — вдруг вспомнил он. Возникла квартира — мастерская в старом петербургском доме с большим столом на кухне под лампой; удлинённое лицо женщины с серыми глазами. Она говорила какие-то важные для неё вещи, пытаясь увести застольную беседу с поверхностных проблем в глубинные, основополагающие, очень для неё важные, попытка разъяснить которые из-за сложности не всегда удавалась, и тогда она начинала нервничать, и глаза её выражали досаду, глаза, которые иначе и не назовёшь, как прекрасными. Затем ей удавалось справиться с собой, и беседа продолжалась. Она возвращалась к теме с болезненной настойчивостью, пока не убеждалась, что присутствующие её понимали. Но не всегда. Тогда на её лице появлялось категорическое выражение, плохо скрывающее казалось бы далеко запрятанные неуверенность и мягкость.

Рядом сидел её муж Валя, тоже художник, на вид суровый и сдержанный мужчина, а на самом деле добрый и вспыльчивый.

Эта беседа, полная сочувствия и какой-то благодарности к нему (за что?) продолжалась долго.

В тот вечер были гости из Америки — русские эмигранты, слинявшие в начале семидесятых: один — очень милый, с русской женой, и второй — профессор

лингвистики некоего американского университета, тоже с женой, но американкой и, как положено или почему-то часто встречается, его сотрудницей. Профессор лингвистики — пожилой еврей в очках, переполненный едва скрываемым чувством превосходства, которое он приобрёл в результате своей успешной для эмигранта карьеры в Америке, что, как он считал, позволяло ему благостно и доброжелательно относиться к высказываниям окружающих на темы, доступные в полной мере, очевидно, только его пониманию.

Ну, естественно, как у них, состоявшихся, водится, он любил и восхищался русскими людьми, от которых благополучно сбежал.

Он высоко ценил и защищал русский народ, который ему виделся уже из Америки, а не из окружающего этот народ говна. При намёках на то, что этот замечательный народ не всегда так уж и хорош, не столько профессор, сколько его жена, которая этот народ неизвестно откуда знала досконально и который ей был близок в виде мужа-еврея, вставала и бросалась. Видимо, её научная работа под руководством мужа была ещё далека от завершения.

Единомыслия как-то не получалось. Мы облегчённо вздохнули и продолжили беседу, когда они, наконец, ушли. Расстались за полночь, и он ещё долго бродил по холодным улицам и вспоминал: «Как мы, думающие, все непохожи. Бери каждого поодиночке».

Ему необходимо было поест. Он это понимал, хотя есть не хотелось. Обойдя дом и держась за стволы молодых деревьев, растущих вдоль тропинки, он направился в расположенный за домом в десяти примерно метрах небольшой сарай с маленьким окошком

и низкой дверью. Половина сарая состояла из небольшого сруба, а вторая часть — из некрашенных сбитых досок, завешенных изнутри рыболовными сетями.

Белая крашенная дверь, принесенная откуда-то, видимо из города, не закрывалась, и её нужно было прижимать поленом. Из сруба, вероятно, хотели соорудить баню. Вдоль передней, обращенной к нему, стороне сарая была выложена поленница дров. Когда и кто напил и наколот дрова, оставалось неясным. Через дверь можно было видеть, что в сарае стоял стол, два табурета, деревянная этажерка для посуды, вешалка в углу на стене и канистра для воды. С одной стороны на столе стояли консервные стеклянные и металлические банки, уже вскрытые, а с другой были свалены в беспорядке листы бумаги и папки. Правая стена из бревен представляли собой одну сторону сруба, и в ней имелась дверь во второе помещение, вероятно парную. Над парной под крышей находился чердак, где валялись обрезки досок, куски рубероида, ящик с инструментами и также стояли консервные банки, но целые.

Напротив двери в сарайчик росла старая сосна с толстым стволом, в который безжалостно были вбиты два гвоздя. На одном висел алюминиевый рукомойник, крашенный зелёной краской. Над рукомойником на другом гвозде криво висело небольшое зеркало, очевидно, для бритья. Побив ладонью по соску и убедившись, что воды в рукомойнике нет, он заглянул в зеркало, повернувшись осторожно боком, чтобы не увидеть сразу все лицо и не расстроиться, и обнаружил то, что уже видел в озере, — заросшее волосами лицо, однако правая половина лица вместе с губой немного отвисла и сползла книзу.

«Очевидно, это я. Старик. Большой старик», — расстроился он.

«То, что я вижу, брить уже бессмысленно».

Снова заболела спина, он вполз со стоном в кухню, достал из банки на столе обезболивающее и выпил. Помогло мало. Он присел на табуретку и осмотрелся.

Вдоль стены, рядом с входной дверью, под маленьким окном, стоял столик, заполненный посудой. Второе окно, завешенное шторкой, было вырезано в стене напротив сруба.

«Это предбанник, и я его использую как кухню, вот в чём дело», — понял он.

«А парная там, в срубе. Там должна быть печка, и если её затопить, будет тепло. Можно помыться. И отдохнуть в тепле. И подумать, кто же я всё-таки?» — Он встал и открыл дверь во второе помещение. Печки не было.

Стены кухни, он снова это отметил, были обвешаны старыми рыбацкими сетями. В дальнем правом углу сложены толстые медицинские книги и журналы.

«Это ещё зачем?» — удивился старик. И внезапно вспомнил, что кто-то в его прошлом был болен. Возможно, даже та женщина. Помог ли он ей? Или она погибла? Поэтому и приключилось все остальное? А что именно остальное, что именно?! Что-то.

«Нет, она не погибла, я этого не чувствую. Нет никаких сигналов о её гибели. Но что-то страшное, возможно, я с ней сотворил. Или всё-таки она со мной? Или мы оба — сначала она, а потом я. Скорее всего, какая-то измена. Я уверен, что если вспомню, мне станет легче. Возможно, даже поправлюсь? Ведь я болен, определенно болен. И не только тело, но и мозг».

Боль уменьшилась.

Он нашёл банку с тушёной, выгреб из неё немного на сковородку и вышел из кухни. Долго, ломая спички дрожащими руками, пытался зажечь дрова, потом начал чистить картофель. Хлеба у него не было, имелась только мука. Картофелина выскользнула из правой руки, и он обратил внимание, что его правая рука и правая нога двигаются плохо и правая половина тела онемела. «Какую болезнь это могло бы означать?» — подумал он и посмотрел на книги. В книги заглядывать не захотелось. «Ну, раз левые рука и нога выглядят здоровыми и нормально двигаются — это уже хорошо. Нужно быть оптимистом».

Ещё раз криво улыбнувшись зеркалу и еще раз с удовлетворением отметив свои сохранившиеся зубы, он вошел в кухню, где на полках и гвоздях лежали и висели пакеты и банки с продуктами. Некоторые пакеты были надкусаны. Старик примерился ртом и убедился, что надкусывал не он. «Дедукция», — вспомнил он слово.

«Как нормальному человеку может прийти в голову, что он надкусывает всякие полиэтиленовые пакеты? Ясно — я ненормален. Во всяком случае, мне необходимо за собой следить. А в доме, возможно, завелись мыши».

Он вышел за сарай и помочился.

«Совершенно безболезненно», — с удовлетворением отметил он свои сумеречные ощущения. Перейдем к дедукции:

«Итак, урологических болезней у меня нет, в том числе и венерических. Это радует. Да и откуда они здесь возьмутся, венерические. От одиночества ими заболеть невозможно. Насколько мне известно. От него можно только свихнуться, но я-то с ума не сошёл. Только вот память».

Выплыла голова Заславского — лохматого банного человека, с тут же узнанной им фразой: «Все мы пользуемся эрекцией и пользуемся ею неправильно, а как правильно пользоваться — никто не знает».

«Конечно же, это Заславский, — обрадовался он, — как всегда с очередным умозаключением.

Может, это и привело меня сюда? Я чрезвычайно неправильно пользовался? Скорее всего, не с той и не там. Вот в чем источник моих бед, и тогда Заславский, безусловно, прав. Значит, меня сюда заключили? Как прокажённого? Но я себя больным не чувствую. Нет, нет, не это. Если только в широком смысле? Широчайшем! А кто же она?»

Воспоминания его утомили. Пригревшись у стены сарайчика, он уснул.

Приснилось, будто в череп к нему проникла заглавная буква «О» и начала стучать изнутри по кости «имя, имя, имя, имя...».

Всё это напоминало азбуку Морзе, только вот азбуки Морзе он никогда не знал и, естественно, ничего понять бы не смог. Возможно в стуче есть важная информация, связанная с нынешним бедственным положением?

«Почему я не учил азбуку Морзе? — расстраивался он во сне. — Когда её знали все герои-папанинцы, непрерывно стучавшие в эфире, и большинство граждан нашей свободной родины с энтузиазмом тоже стучавшие, но уже в переносном смысле».

(Впрочем, к этой теме мы, по всей видимости, очень скоро вернёмся в результате выборов.)

Потом в голове отстучалась фраза «ищи женщину» и, при полном непонимании смысла, вызвала ощу-

шение, что, безусловно, найдена дорога в его памяти к осознанию всего происшедшего с ним.

Он проснулся с уверенностью в том, что, как только вспомнит это загадочное и тревожащее имя, он всё поймёт и вернётся в недоступный пока истинный мир, неясно преследующий его, изнуряющий память, усугубляющий мучительное состояние беспомощности.

«Господи помилуй! Может вспоминать не нужно? Может это опасно?» — Но мучительная работа памяти уже началась.

Картошка была почищена. Собрав несколько сухих поленьев, он поставил их шалашиком на специальное место для костра перед кухней и зажег дрова свернутым обрывком газеты. Это было место для приготовления мяса, огороженное с двух сторон стенками из кирпичей, на которые укладывались прутья с нанизанным мясом. — Вот что он вспомнил. И еще вспомнил двух художников — Заславского и Румянцева, с которыми он был в лесу. Но в этом или другом месте — пока было непонятно.

«В лесу все места похожи, — подумал он, — так что, скорее всего, не в этом».

В лесу Заславский с Румянцевым писали этюды. Ещё ходили собирать грибы. Вот эпизод с грибами он вспомнил полностью и удовлетворённо улыбнулся. Ещё он вспомнил свою краткую речь в городе:

«— Поехали, ребята, в лес, на озеро. Будем на пленёре как три барбизонца работать: вы писать и я — писать — и еще пол-ящика водки, ящик пива, чтобы было во что макать перо, и пару бутылок вина для женщин. Если они там водятся.

— А я водку не пью, — вдруг заявил Румянцев, — последнее время я пью исключительно вино. — Мы с Заславским вздрогнули.

— Ты удивил. Из-за тебя менять ориентацию не станем. Выглядишь — мужик мужиком. Так что будешь пить водку. А почувствуешь себя несчастным — “залакируешь” её, как говорят в народе, пивом. И вообще, не путай пленёр с оргией. Совсем ты, герр Румянцев, со своим сидром от России отбился».

«Что же мы тогда, действительно, делали лесу?» — вспоминал он.

А в лесу Заславский с Румянцевым делали, собственно говоря, ещё следующее: Заславский, помешанный на грибах, собирал их не для какой-нибудь цели, а удовлетворял инстинкт собирания, нападавший на него в лесу, как лютый зверь. Он пропадал с утра до ночи, заваливая кухню грибами. Потом у него портилось настроение от того, что до утра ему придется их мыть, чистить, нанизывать грибы на нитки для сушки, мариновать и т. д.

Кипели кастрюли, Заславский, с красными от бессонницы глазами и в ужасе от количества собранных грибов, сидел на табурете около двух огромных тазов с ножом в руках, периодически вскрикивая:

— Зачем я всё это делаю?

Но брезжил рассвет, и он снова с двумя корзинами устремлялся в лес.

Румянцеву грибы были по барабану, ходил он по лесу с тросточкой, брезгливо разгребая траву и тыча ею под пенёчки. В Гамбурге у него остались именно такие представления о собирании грибов. То есть не как о

добыче, а как о моменте проникновения в живую и неживую природу. Интересовали же его в лесу разные события и явления окружающего животного и растительного мира.

— Мужики, — раздавался его голос откуда-то издали. Мы бросали добычу грибов и двигались на голос.

Румянцев оказывался сидящим на камне с сигаретой в одной руке и тросточкой в другой. Тросточка указывала на что-то в траве.

— Посмотрите на эту кучу, — сообщал нам натуралист, — это не лось, не корова и никакой другой известный зверь.

Куча действительно была огромной, и в ней имелся какой-то невиданный след. Любознательность Румянцева и интерес к простым вещам в его скоро солидном возрасте нас с Заславским раздражали.

— Ну, и что мы теперь будем делать? — задал Заславский свой обычный вопрос.

— Может, это ты, Заславский? Вчера, увидев тот огромный и не червивый гриб, который потом принёс, — от счастья? — осторожно предположил я.

Заславский отвечать на выпад не стал, а, сообщив деловито «нужно собирать грибы», снова исчез в лесу, где таинственно умолк. Видимо, опять нашёл и опять будет понос. От счастья.

Я также удалился, оставив Румянцева в глубокой задумчивости, созерцании и тоске по пиву.

А вечером, когда мы сидели со стаканами и готовили мясо на ужин, а на плите жарились грибы, из тьмы появилась приятной наружности и пышности, довольно молодая особа и пригласила к себе, как она заметила, пообщаться. Общение предполагалось приятным,

даже интимным, правда, неизвестно где, скорее всего, прямо в лесу.

Заславский с Румянцевым многозначительно посмотрели на меня. Они всегда стремились отдать мне самое лучшее. Альтруисты.

— Нет, у меня в городе любовь — отмел я их надежды».

«Какая любовь?! — вздрогнул старик и что-то тягостное, невыносимое заполнило его. — У меня была любовь? Может в этом причина? Не могу вспомнить».

Правую ногу он до этого не чувствовал, а тут появилась боль в стопе и пальцах, потом заболело колено.

«Хороший признак, — подумал он и криво улыбнулся, ощущая “чужой” половину лица. — Немного же мне нужно для оптимизма».

Превозмогая боль, он добрался до стола в сарае, где достал из коробочки таблетку и осторожно проглотил.

«Видно, всё-таки меня сюда кто-то привез. Но кто, когда и с какой целью? Я никого здесь не видел.

Вот и книги тоже. Я здесь что — экстерном, как Ленин в университете, собирался получить образование? «Ленин в разлив?» «Апрельские тезисы?» «Сегодня рано, а завтра как бы поздно?» И ведь он не опоздал! Успел-таки.

Неужели я эти книги читал? Но, видимо, в отличие от вождя, не преуспел.

И ещё хорошо бы узнать кто я — нация или народ?

Для самоидентификации. Но это уже из другого вождя».

Опять припомнилась какая-то больная женщина. Воспоминание было неприятным. Боль в ноге под влиянием таблетки уменьшилась. Он добрался до пенёчка на солнышке. Присел.

Ему приснилось, будто он стоит на залитом солнцем берегу океана в какой-то экзотической стране. То, что это океан, а не море, он ощущал по величине волн, по мощи волнения, по внутреннему глубинному чувству бесконечности пространства.

В нескольких милях от берега расположились небольшие острова. На них можно было увидеть белые дома, стоящие высоко на скалах, и маленькие посёлки на берегу.

Среди островков, он знал, находился «остров коз», куда ему необходимо попасть.

Зачем? Неизвестно. Об этом во сне ничего не говорилось.

Он прошёл на буксирчик и заплатил за проезд: туда и обратно. Денег из отеля он взял немного, но на дорогу как раз хватило.

Буксир раскачивало боковой волной, и он ложился с борта на борт. Несколько пассажиров сидели на круглых металлических тумбах и держались за них изо всех сил, опасаясь свалиться в воду. Его сосед, оказалось, говорил по-русски, и он выяснил, что буксир сегодня на остров Коз не плывет. Отели на этом острове не было, и ему, скорее всего, придётся вернуться обратно.

Но опять случилось непредвиденное: они приплыли как раз на остров Коз, интерес к которому он к этому времени совсем потерял. Осмотрев остров, он так и не

выяснил, с какой целью, собственно говоря, сюда приплыл. Возможно, цель какая-то и была, но она не прижилась.

Назад он возвращался уже на катере. Катер сидел низко, почти на уровне воды, и тем не менее вдалеке удалось заметить пловца, который размахивал руками, прося о помощи.

Когда его вытащили на палубу, на спине у пловца сидела большая коричневая рыба с круглой, как у головастика, головой и длинным тонким хвостом, свешивающимся за борт.

Широким ртом, похожим на лежащую букву «О», с множеством острых зубов, она вгрызлась пловцу в спину. Маленькие глазки, расположенные далеко один от другого, вызывали страх.

Все вместе мы долго пытались оторвать рыбу от пловца, чувствуя, что он погибает. Наконец нам это удалось — рыба упала за борт и исчезла в глубине.

В спине пловца зияла огромная рана с рваным мясом, перекушенной кровоточащей почкой и раскрошенными зубами рыбы осколками костей.

«Ему не вы...» — он в ужасе проснулся.

«К чему этот сон, о чём он, почему опять всплывает эта заглавная О?»

«Присмотрись, — сказал кто-то знакомый, — это у неё вид такой беззащитный, и такой доверчивый, и такой неустроенный. Она вгрызется в тебя, высосет, оставив незаживающие раны, и исчезнет в глубине, как эта рыба».

«У кого “у неё”, о ком это? Буква “О” — имя?»

Мне его нужно вспомнить, к каким бы это последствиям, даже печальным, ни привело. Да и куда печальнее?»

Костёр давно погас. Кастрюля с картошкой перевернулась, и картофель валялся прямо в золе, почернев и обуглившись.

«Пойду на свой камень, погреюсь», — решил он, осторожно передвигаясь к берегу. Камень действительно был тёплым, и, пригревшись, он стал наблюдать за озером.

Несколько чаек вдали ныряли за добычей. Ещё дальше пролетали металлические лодки с подвесными моторами и рыбаками, и проходили изредка большие рыбацкие и пассажирские суда. Вдали, на том берегу, в лесу, стояли одинокие безлюдные избышки.

Из рыжих прибрежных камышей справа стремглав вылетели три серые утки и понеслись над водой в сторону.

У самых его ног плюхалась о камне Ладога.

«Это Ладога, безусловно Ладога!» — радостно вспомнил он.

Из воды вынырнула лохматая голова Заславского и заявила:

— Мир иллюзий это и есть мир настоящего нашего существования... возможно.

— Это мне известно. И потом это не совсем точно, а если оперировать большими цифрами, то и вообще неточно. Многие люди абсолютно уверены, что окружающий мир, а также их практическая деятельность в этом мире реальны, а мечты, страдания, любовь, скрытая неудовлетворенность и тоска — иллюзорны. Только почему-то их гораздо труднее заглушить, чем сменить работу. И часть людей живёт в мире иллюзий. Потому что они не животные, которым, как известно, иллюзии не свойственны. И у

части людей иллюзий нет. Живут без иллюзий, как собаки.

— Конечно, — ответил Заславский, — но жить как-то надо.

— А что, действительно надо? Всем?.. Как-то?.. А, Заславский?

— Терпеть, мучиться? А во имя чего? Чтобы умереть?

Он посмотрел на свои лохмотья, на своё больное измученное тело и подумал: «Нет, не надо».

— А Ольга твоя, — спросил Заславский, — живёт иначе?

«Значит, её звали Ольга?!»

Боль в суставах, спине, теле — вся его боль устремилась в голову. Голова с треском раскололась. Чёрной птицей вылетел и исчез мир...

Он пришёл в себя от холода. Солнце опустилось почти до леса. Небо на той стороне стало малиновым на синем, с тонкими облачками, розовыми с одной стороны и серебристо-белыми необычайной, несуществующей белизной — с другой.

Белая ночь не давала возможности определить, сколько времени было на самом деле.

Закутанный в своё тряпье, дрожащий от холода, чувствуя себя совершенно измученным, он наблюдал, как заброшенная голодная собака, белая с чёрной грудью и чёрными пятнами на лапах и спине, кружит вокруг него, не решаясь подойти.

«Откуда ты удрала и как пробралась на остров?» — спросил он у собаки.

Сломанные уши собаки приподнялись. Дворняга сделала движение навстречу и тут же отскочила. Он

снова впал в забытье, потом пришёл в себя — собака всё не уходила.

«Ну, подходи, подходи, не бойся, — уговаривал он пса, — идём в дом. Я тебя накормлю». — Собака медленно двинулась за ним к дому, но в дом не вошла, наблюдая за дальнейшими событиями со стороны.

«Били тебя, наверное? Подманивали, а затем били? Или бросали камни? Или мучили? Но ты не бойся, я не буду бить. Меня тоже, вероятно, избили, в некотором смысле. До полусмерти. Только не могу даже вспомнить, кто? Возможно, женщина какая-то. Звать Ольга. А ты, наверное, помнишь, кто тебя избил?.. И я вспомню... Мне это совсем необходимо».

Он взял новую банку тушенки, смешал с варёной картошкой и хлебом и поставил снаружи. Собака осторожно, оскалив зубы и рыча, поела. Выпив воды из лужи около рукомоёйника, она легла у дверей, не глядя на хозяина.

«Ну, что лежишь? — снова обратился он к собаке через некоторое время. — Пойдём в дом. Я завтра испеку лепёшек, и у нас будет хлеб. И, наверное, есть макароны. Большого разнообразия я тебе предоставить не могу. Кажется, есть консервированное молоко, кто-то позаботился».

Тут собака повернула голову, принюхиваясь, и он увидел на её зрачках два белых пятна. Она была слепа.

«Ты окончательно несчастна и слепа, а я память потерял. Получается, что мы пара. Будем жить теперь вместе. Теперь я твой хозяин. Учти.

— Ты, кстати, сука или кобель?» — спросил он, присматриваясь к собаке. Потом всё-таки решился, придвинулся и заглянул под хвост.

«Даже не знаю, что и думать... сука. Тебя нужно как-то назвать, а как — не знаю. Может Ольгой? Та тоже была сука».

«Нет, конечно, я бы тебя здорово обидел. Ведь собаки, как известно, не предают. А мне кажется, что та, которую называют Ольга, меня здорово предала. Что-то некрасивое, даже позорное. Я чувствую.

Так что «Ольга» мне неприятно. Нам неприятно. Назову-ка я тебя — Подружка. Это правильно, но тебе еще надо заслужить. Поскольку я тебя открыл, может Эврикой? Для краткости — Эврей. Если переставить ударения, эврей получается. Имеется антисемитский выпад: как что-то плохое — так сразу евреи. Буду я тебя звать Рикой. Такая у тебя будет кликуха».

Собака прижилась. В доме, пока он сидел за столом, она лежала у него на ступнях, согревая их. А на берегу, на камне, где он грелся, подставляя солнцу лицо и грудь, собака лежала, прижавшись к его спине. К ночи Рика выходила из дома и устраивалась на крыльце поперёк двери, охраняя.

«Вот ночью тебе хорошо, да? Ночью ты такая, как все собаки, и не видно, что ты слепая. Ночью у тебя есть достоинство. А я его потерял когда-то... Видимо... И охранять меня сейчас незачем. Я совсем старик и никому не нужен. По крайней мере, так я себя чувствую. Но, возможно, на самом деле я значительно моложе, это болезнь меня довела. Слава Богу, что вокруг никого нет, а то называли бы меня «папашей», или «дедом» или, что уже совершенно противно, «пенсом». Уж лучше пенисом. Тут я в озеро смотрел — старый человек, да ещё больной. Разваливаюсь».

«А когда меня нужно было охранять от этой — он запнулся — тебя со мной не было. Быть может, ты бы

меня и спасла — перегрызла ей горло. Но мы с тобой тогда здесь бы не встретились».

Собака повиляла хвостом, давая понять, что она слушает.

«Я тебе больше ничего не могу рассказать, — вернулся старик к наболевшему, — потому что плохо помню последнее время. Иногда вспоминаю забавное. Это меня поддерживает. Вот, например, расскажу как Заславский, это художник, мой друг, вернулся из Америки, где выставлялся с Зинштейном и ещё с кем-то. А до этого был скандал в небольшой группе «Пгишот». Это потому, что Заславский взял денег на напечатание каталога у израильтян, а группа считала, что поскольку они тоже еврейско-русские художники, то каталог, как и выставка в США, должен включать и их. Включить их Заславский не мог — их не приглашали, — и единственное, что он мог бы для них сделать, — это отказаться самому, что, как вы понимаете, было бы большой и благородной глупостью, которую позволить себе Заславский не мог, так как считался человеком умным. В общем, во всей этой истории оставался лёгкий Иудин след, если хотите, но где — никто точно определить не мог. Однако прохлада в отношениях сохранялась долго.

Так вот, Заславский вернулся из Америки и сидел в бане на 17-й линии, описывая события для присутствующих там Мурика, Жореса, Борца, Бочкарева, Лотоша и Зинштейна, который всё видел в Америке собственными глазами. Был также некий критик Александр Григорьев и какие-то художники, периодически исчезающие в парной.

Заславский как раз развивал свою концепцию внезапностей в видении живописца, как вдруг все заметили, что у него здорово вырос половой орган. Увеличился.

Это всех насторожило.

Все прекрасно помнили, каков он был до отъезда, и никак не могли поверить своим глазам, тревожно переглядываясь и кивая друг другу.

— Ты нас разыгрываешь? — спросил Заславского первым пришедший в себя Мурик. Заславский посмотрел на свой пах и тоже искренне удивился.

Посмотрели на Зинштейна, который заявил, что ничего из ряда вон выходящего Заславский в Америке с органом не производил.

— Тогда каким образом? — строго спросил критик Алика. — Ты же жил с ним в Америке в одном номере. Должен был заметить.

— Ничего такого я за ним в Америке не замечал и не видел, — ответил Зинштейн раздражённо.

— Но сейчас же видишь?

— Сейчас уже каждый видит, — не мог не признать Алика.

В разговор вступил крупный весёлый человек с круглым лицом — очередной «гений» выуженный Заславским где-то в Украине. Гений называл себя Зух, хотя Зухом на самом деле не был. Это был псевдоним.

— Как ты этого достиг? — спросил «гений».

— Не знаю, — вежливо ответил Заславский, — может, долго смотрел на баклажан.

— А в каком штате ты был? — продолжал допрашивать любопытствующий, мысленно уже покупая билет на самолёт.

— Я был в разных штатах, — уклончиво ответил Заславский.

— А это у тебя пройдет? — с надеждой спросил кто-то.

— А вот не проходит. Никак, — ответил вредный Заславский, не оставляя присутствующим надежды. И доконал с лицемерным вздохом:

— С этим, наверное, теперь мне придётся жить.

— Он у тебя функционально пригоден? — поинтересовался любопытный Мурик.

— Вполне, — ответил Заславский, снова повергнув всех в уныние.

— Ты с себя ответственности-то не снимай, — вдруг раздраженно заметил Зинштейну Жорес .

— Так что же мы теперь будем со всем этим делать? — спросил Заславский.

Все посмотрели на Бочкарёва, склонного к философскому мышлению, но тот упорно молчал, вырабатывая концепцию.

Оставалось последнее: обратиться к Задорину, который, правда, хворал, но со свойственной ему мудростью присутствия духа не потерял. Задорину позвонили по мобильному, и он отрезал:

— Пусть трахается.

— Как грубо, — заметил Заславский.

— А с кем? — спросили Задорина. — Вопрос, как ты понимаешь не простой.

— А с кем угодно, хотя бы даже и с женой. Сейчас главное выяснить — это навсегда или пройдёт.

— Ирочка сейчас не может, — размышляли мы все вместе, исключая Заславского, — она погрузилась не то в китайские, не то в индо-тибетские учения, хотя путь познания Дао или дорога Далай Ламы от неё всё ещё далеки — гораздо дальше дороги в ближайший бутик.

Ирочке решил позвонить Мурик, вызывающий у неё наименьшее раздражение, и спросил: «Ирочка, ты

обратила внимание на некоторые изменения во внешности Заславского?»

— Никакого внимания я на него не обращала! — грубо ответила Ирочка.

— А зря. Непонятно, чем вы там занимаетесь по ночам, но не заметить этого в сложившихся обстоятельствах просто невозможно.

Это мы тебе деликатно, из вежливости, намекнули про изменения, а на самом деле у него член вырос, весьма заметно. Мы даже позвонили Задорину узнать, что же нам теперь делать, и Задорин сказал категорически: «Трахаться!».

— Я этого делать не буду, — твёрдо заявила Ирочка.

— Вам-то хорошо, — вдруг заметил Заславский, сокрушаясь, — у вас в Америке ничего не выросло. А мне как со всем этим ходить по выставкам, презентациям, читать речи и особенно присутствовать на фуршетах рядом с женщинами? Могут пойти разговоры.

Тему, наверное, можно было оставить, но что-то мешало. Смутно мы понимали, что Заславский незаслуженно приобрел в Америке какое-то преимущество, и следовало предположить: предстоят грандиозные события, которых нам категорически не хотелось.

Поэтому решено было считать «это» у Заславского отёком в результате перемен климата и нарушения часовых поясов при перелёте, что со временем пройдет. Но время шло, а величина органа Заславского со временем не уменьшалась, и гипотеза отпала.

А само по себе увеличение стало в Петербурге исторической и временной вехой, и многие люди, даже поверхностно знавшие Заславского, потом, уточняя временные параметры имевших место событий, говорили друг другу: «Это было ещё до того, как у Заслав-

ского в Америке вырос» или «как раз полтора года спустя после случая с Заславским в Америке».

Сам Заславский предполагая неотвратимость грядущих перемен в работе и личной жизни, сидел в бане, прислонившись к шкафчику для белья, и, скукожившись, молчал.

Я вышел из парной и неожиданно брякнул:

— А я жениться хочу. На Ольге.

— На какой Ольге? — поинтересовался Мурик, уставив на меня свои раскосые таджикские глаза. — Их у тебя много.

— Это миф, — парировал я и продолжал, — на какой, на какой? Вы знаете, на какой!

— На дылде? — спросил критик.

— На ней нужно жениться двум человекам. Даже трём, — пошутил сардонический Лотош.

— Я бы не стал иметь дело с украинками, — продекларировал Мурик свой неизвестно откуда взявшийся национализм и предчувствие скорого осложнения взаимоотношений с навеки братским украинским народом.

— Ну, вот ещё! — ответил я. — У нас у всех смешанные браки. Уж какой Лотош иудей, а итог? Кем будет себя считать ребёнок, пусть тем и будет. Хоть чукчей! — сказал я, с удивлением открыв в себе нотки великодержавного шовинизма.

— Была у меня одна украинка... — начал тощий Жорес Телов одну из своих бесконечных историй. Все дрогнули. Слушать Телова одно удовольствие, когда у вас много времени. Рассказывает он обстоятельно. В его рассказах всё важно и всё требует необычайно подробного описания на горе нетерпеливому собеседнику. Правда, у него всегда присутствует

одна главная мысль и всегда она не в пользу женщин: суки они все».

«Возможно, эту историю я придумал» — размышлял он, закутываясь в тряпье. Его бил озноб. Дул порывистый ветер с залпами холодного дождя — Ладога собиралась возмутиться.

Внезапно ему захотелось эту историю записать. Желание было знакомым. Писать сразу он не мог... Память опять подсказала ему...

«Пишу, когда пишется. Не пишется — заставить себя не могу. Слоняюсь, беру ручку — бесполезно...

Есть время собирать камни и время их разбрасывать. Времени разбрасывать всегда больше.

Дело вообще не во времени, а в периоде. Необходимо, чтобы в этот момент тебе наступили ногой на пах. Можно и в переносном смысле. Например — ушла женщина, и ты в потрясении. В потрясении и пустоте. В озлобленности. В безысходности.

Тут и начинаю писать. Пишу, пишу, пишу, пишу. Всё бросаю, только пишу. Просыпаюсь ночью, осененный, и — к ручке. Ручка — это не метафора, потому что я именно пишу ручкой, а не печатаю на компьютере. Таков мой творческий метод.

Вдруг появляется другая женщина. Завязываются отношения, встречи, восторги. Радости касания, удивление совершенству и так далее, и так далее как любил приговаривать один великий поэт, уже классик.

При этом я всё ещё пишу и пишу. И так далее, и так далее. Продолжаю. Как заведённый. Но — без энтузиазма.

Книга вырисовывается, а затем заканчивается.

В новой избраннице я обнаруживаю любимые и необходимые свойства. Это обычно преданность и верность до смерти (наверняка до моей), обожание, полное понимание моей исключительности и, самое главное, абсолютная искренность во всём этом. Обретаю радость, покой, безмятежность. Доверие к ней — безграничное, как и моя глупость в этот момент.

Писать не хочется совершенно. С трудом заканчиваю книгу и перестаю писать вообще. Что-то вокруг замечаю, что необходимо записать, но — никаких поползновений. Попытки насиловать себя приводят к плачевным результатам.

Потом появляется следующая женщина, как две капли воды похожая на предыдущую, затем четвёртая, пятая... и так далее, до полного собрания сочинений...»

Старик вошёл в кухню. С крыши, крытой рубероидом, капала вода, прямо на стол. На улице дождь уже закончился, а вода продолжала капать. Бумаги и папки на столе промокли, на стеклянных и жестяных консервных банках блестели капли воды. «Очевидно, крыша прохудилась», — решил он и вышел наружу посмотреть. В одном месте лист рубероида оторвался от крепившей его доски и отгибался при порывах ветра. Там, видимо, и протекало. Нужно было залезть на крышу и снова прибить рубероид доской. С той стороны сарая у стены лежала длинная лестница. Но дотащить её и поднять на крышу он был не в силах. И тем более самому подняться и прибить оторвавшийся кусок.

Он снова вернулся в кухню, и тогда на столе, среди мокрых бумаг, увидел канцелярскую папку, завязанную тесёмочками. Крупными буквами косо было

написано «Ольга». «Это о ней», — вздрогнул он. Нехотя развязал тесёмку и обнаружил стопку листов писчей бумаги, тоже промокших, с фиолетовыми, расплывающимися пятнами. На листах сначала указывались числа и месяцы, затем только месяцы, а в конце никаких дат вообще не было. Возможно, это был дневник.

«Года за три», — определил он на взгляд.

На первом листе стояло: «Ноябрь две тысячи... (последние две цифры не видны) года.

Он хотел было заглянуть в конец записей, чтобы сразу всё вспомнить, но решив, что если читать постепенно, он выдержит, открыл первую страницу...

«Она стояла в коридоре рядом с моим кабинетом. Очень высокая, с длинными, даже для ее роста, ногами, бесконечными, но не лучшей формы. Правда, с тонкими коленками. Талия, как часто бывает у длинных, — широковата. Грудь слегка подвисшая, но мило. Голова вообще крупная, по её росту казавшаяся тем не менее маленькой, сидела независимо на длинной и тонкой шее. Лоб большой, скрытый чёлкой. А ротик, наоборот, крохотный для такого лица. Небольшое ощущение тяжести в лице, даже громоздкости. Неясный намёк на акромегалию. Глаза серые, мягкие, женственные, обещающие. (Наобещали-таки, но об этом позже.) Да, глаза определенно красивые, хотя и небольшие. Длинные руки располагались вдоль тела и заканчивались длинными же кистями и пальцами. Это тоже красиво и тоже намёк на гормональный дисбаланс. Каждый раз, когда она отводила руки от тела, они как бы улетали.

— Вы ко мне?

— Да, я принесла показать вам компрессионный трикотаж.

И протянула карточку, на которой было написано: «менеджер».

Бросил взгляд на ступни. Размер обуви, думаю, сорок три. Милая манера разговаривать. Или на самом деле, или «втюхивает товар». В целом видение довольно приятное, если бы не намёки. Здоровая такая тётка, видимо, сильная. Пахать, скорее всего, на ней можно. А как раз сельское хозяйство я и не люблю.

Но вот представляется возможность его полюбить. Близость с ней — по жанру, скорее всего, пастораль. Могу почувствовать себя зоотехником, даже ветеринаром. Можно подумать, кстати, об искусственном осеменении. Такая кобыла. Искусственное — не искусственное, а всё равно получается зоофилия. Конечно, это шутка. А может быть, и нет. Опыт подобных связей у меня вообще-то отсутствует, но вскоре, видимо, станет избыточным.

К сожалению, шутка впоследствии оказалась близкой к реальности, и ничего забавного для меня потом уже не было.

— Проходите, рассказывайте, показывайте, удивляйте, — я усадил её на диван.

Говорила, приветливо улыбаясь, но когда замолкала, на лице появлялась геморроидальная печаль. (Про геморрой мне тогда ещё было неизвестно, не про мой геморрой в переносном смысле, который я с ней наживу, а про её, который к моим физическим и психическим недостаткам не имел никакого отношения. Но об этом позже, как и о многом другом, столь важном для дальнейших событий.)

В общем, лицо как на картине Моралеса в Эрмитаже. Видимо, Святая Дева Моралеса (Господи, прости) тоже страдала геморроидальной болезнью.

Тут бы мне как раз остановиться, но, видимо, судьба уже замахнулась, чтобы дать мне пинка под зад. И это уже ни к её, ни вообще к геморрою не имеет никакого отношения.

— Меня зовут Ольгой, — сказала она, вставая, протягивая мне руку и слегка прижимаясь, отчего её низко расположенная грудь оказалась на уровне моего носа. То есть сантиметров 170 от пола.

Как сказала бы Ирина, жена Заславского: «Тут имели место феромоны».

На моём столе лежало приглашение в театр «Интерьер», на спектакль приехавшей из Вологды драматической труппы. Пригласили меня Черновы, а ещё там должна была быть семья Аршакуни, которых я давно не видел. Тем не менее идти одному не хотелось. А тут как раз «повезло».

— Не сходите ли вы со мной в театр сегодня вечером? — спросил я её и с тех пор всё время себя спрашиваю: «Зачем я это произнёс? С чего вдруг? Видимо, я очень смелый, мне кажется. И очень сильный».

Вспомнил: «Гиви очень сильный, но очень лёгкий». На подъем, блин?

— Спасибо, приду, — ответила она незамедлительно. Видимо, я ей понравился. А возможно, ей уже было всё равно кто, лишь бы скорее. А кроме того (я это понял очень поздно), у неё уже тогда имелась цель...

Спектакль оказался хорошим. Пришли Чернов с Наташей.

Дружественный тёплый фуршет, как это часто бывает, задержался. Алкогольная зависимость нарастала. Периодически пересекался Невский вне зоны перехода, чтобы сократить расстояние до магазина напротив.

Завен за последнее время после травмы, болезней и операции, ходил прихрамывая, опираясь на палочку. Постоянно что-то забывал, что приводило его в неистовство. Нина берегла его от различных нарушений врачебных советов, больше всего от выпивки, что удавалось с большим трудом, ибо и Нина была не дура выпить, и Завен отличался редкостным упорством в нежелании соблюдать любой больничный режим, требующий ограничений, невыносимых для его царственной натуры. В итоге Нина тоже себя плохо чувствовала, хотя болеть ей было абсолютно некогда и даже невозможно. Она моталась, организуя его выставки, что, как известно, дело нелёгкое. Семья, включая Петросика, последнее время держалась в основном на ней. Завен писал мало, почти не работал.

Моя знакомая сидела, прижавшись ко мне бедром, испуская, как мне казалось, электрические токи. Вспомнился череп с двумя косточками на трансформаторной будке.

В этот вечер у Кожина, вернувшегося из Архангельска, был день рождения. Мы вышли из театра и поехали на Петроградскую, в мастерскую.

Мастерская Владимира Стерлигова, где сейчас работают его ученики и последователи, располагается в большом, странном, построенном в виде носа корабля доме, упирающемся дурацкими эркерами как раз в острый угол между Широкой и Левашовским проспектом. Огромная несуразная парадная с двумя выходами и лифтом.

Рядом с парадной дверью, выходящей на Широкую, имеется мемориальная доска, оповещающая, что именно здесь жил неутомимый борец за будущее почти столетие беспрецедентного насилия над людьми, рабо-

чий Елизаров, прятаящийся в квартире неизвестно от кого основателя этой кровавой эпохи — маленького некрасивого человечка с чрезмерно большим лбом, не простившего людям своей некрасивости.

Мы поднялись на лифте на шестой этаж, а затем по черному ходу в мансарду и вошли в три узких и длинных коридора в виде печатного английского «игрек» с множеством дверей. За дверями имелись маленькие комнатки, построенные почему-то не в виде прямоугольников, а в виде неправильных трапеций с окнами, прорубленными неизвестно зачем и куда. Где-то затерялись темная кухня и туалет. Двери на выход и в туалет располагались рядом на одной стене, и гость, толпясь в тесных коридорах с желанием уйти, попадал как раз в уборную и наоборот. Видимо, архитектор развлекался, как мог, и сейчас по-прежнему развлекается. В той жизни.

В самой большой комнате Гостинцева стоял стол, накрытый с вызывающей декадентской роскошью вместо обычных водки с килькой и картошки.

Гости сидели кто как: на скамейках, на стульях, друг на друге. Были ещё неизвестные мне художники, несколько искусствоведов и критиков, как обычно, в виде дам, и скоропостижно прибывшие родственники.

Стол ломился. Водки было в избытке. Даже для множества гостей, готовящихся к запою.

Саша Кожин с капельками пота на лице, прихрамывая, метался из кухни к столу то с кастрюлей отварной картошки, то с пельменями, которыми обносил гостей, непрерывно требующих его для очередного тоста, и тогда с подносами и тарелками его заменяла Наташа.

На лице Кожина сияла приветливая улыбка, подозрительно естественная. Поскольку тостов художни-

ки, как правило, изобрести не умеют, ну разве что «за замечательного художника» и «будь здоров!», частота опрокидывания стремительно нарастала.

Лена Гриценко строгим взглядом пыталась стабилизировать ситуацию, и гости, уже разбившиеся на кучки, чтобы потолковать о своих живописных делах, снова объединялись вместе, мучительно доставая из губин очередное «за замечательного художника».

Из надменного кавказского профиля Носова, над совершенно гармоничным профилю черным усом, глянул искоса на кастрюлю с пельменями осторожный, полный робкого любопытства горячий грузинский глаз.

От присутствия некоей женщины, сидящей рядом с ним, Алеша Гостинцев впал в нирвану. На лице прочно и длительно образовалось выражение восторга не от рядом расположенной дамы, а от существования женщины вообще вне зависимости от конкретного лица, фигуры и возможности занять с ней отношения в будущих жизнях.

Юрий Гобанов, всегда сидящий рядом с ним, наоборот, являл собой пример прагматизма и после первых слов знакомства старался тут же уложить даму на ближайшую горизонтальную плоскость — стол, скамейку в парке, полку в вагоне поезда — и, будучи рыцарем без страха и упрека, не имел моральных и физических сил добраться до ближайшей кровати.

Художники группы Стерлигова, как вы видите, отличались не только своими работами, но и разными замечательными свойствами личности.

За дальним концом стола у маленького окошка сидели Геннадий Зубков с женой. Гена вообще человек обязательный, пунктуальный даже последовательный — качества у художника редкие. Ещё на него можно было

положиться во временных, пространственных и бытовых отношениях, что тоже раздражало тех, на которых положиться было нельзя.

Гена — борец против употребления ненормативной лексики всуе. Витающая над столом, она вызывает его активное противодействие, чаще всего стоном разочарования типа: «ну, вот, опять».

Зубков взвалил на себя тяжёлую работу преподавателя и ведёт мастер класс, в котором в силу малоизученных ещё обстоятельств мастерством овладевают преимущественно женщины. Видимо, он привлекателен не только как художник.

Женщины находятся в непрерывном творческом проникновении и таком же непрерывном восторге, скорее всего от постижения сути. Возможно, вышеизложенным объясняется непримиримое отношение Зубкова к излишествам ненормативной лексики за столом, вызывающее желание спросить: «Гена, ну что ты на самом деле?»

Мы с подругой (пока) с трудом втиснулись на скамейку между уже пришедшими гостями. Просидели недолго — ей пора было разряжаться. Я тоже «горел» желанием, спаси Господи. Спустились на лифте, сели в машину и уехали.

Остановились ночевать в небольшом городке у озера на Карельском перешейке. По городку ползал фургончик скорой помощи с надписью «Реанимация». Нехорошее предчувствие шевельнулось во мне.

Сняли люкс, так как других номеров уже не было. В нём имелось три комнаты, что позволяло при случае запереться в одной и не открывать. Важное обстоятельство, учитывая неподвижность грядущих событий.

Мне бы сразу развернуться, но меня вёл рок, а не только желание, что я понял, к сожалению, поздно.

Раздевшись догола, любимая (в будущем) немедленно бросилась в кровать, задрав и разведя нескончаемые ноги. Места после этого движения в люксовскиx покоях оставалось немного. Можно было на них повесить шторы и сделать из одной комнаты две.

Последующее повергло меня в шок. Сразу в эректильную фазу.

Из того, что раньше обычно называли лоном (чёрт побери, ну конечно, сразу бы стартовать за окно), на меня извергся фонтан горячей жидкости. Она старательно стонала, но была не музыкальна — не под диско-теку, гремющую во дворе. Зато в ней было тепло и мокро, как в парной. С этим я бы ещё мог смириться, но в ней постоянно формировались и двигались какие-то мягкие давящие образования.

Я так был ошеломлён, что поначалу ей даже не удалось сразить меня своими достоинствами. А ей, наверное, жутко этого хотелось.

Я тогда ещё не понимал, что эта девушка решила с моей помощью устроиться в городе и первым делом затрахать меня до умопомрачения, что, конечно, не возбраняется. В умопомрачении я её и устрою. Это был начальный розовый период наших взаимоотношений.

Жидкость из неведомых глубин её большого тела всё прибывала и прибывала, залив простыни и образовав на полу большую лужу. Пахло. «Господи, я на грязевом курорте!», — наконец определился я. Не иначе как Саки. Я лечу-у-у-сь.

Она бросила меня на спину и понеслась заливать мне мошонку и промежность. Поливала как клумбу.

— Половодье чувств? Неиссякаемый источник любви? — Жидкость приобретала температуру, запах и пульсирующий характер действующего гейзера. «В Исландии очень плодородные почвы». Откуда-то. Я дрогнул. Страх венерических болезней, дотоле мне неведомых, охватил меня. Как же я забыл о безопасном сексе?! Немыслимо! Об этом все только и говорят!

— Может быть, это сера? — мелькнула дьявольская мысль. — Слава Богу, что я неверующий.

Вдруг она как закричит:

— Ой, какой он большой! Какой он большой!!

— Кто большой? — всполошился я. — Здесь кто-то третий?

— Я так тебя чувствую, — шептала она совсем не оригинально, пока я держался за её шершавую задницу, покрытую редкими прыщиками от длительного воздержания, чтобы меня не унесло волной и я не вышел, точнее — не вылился.

При приближении конца стенаний стенки стали выбухать какими-то буграми, которые то вздувались, то опадали, чмокая, как болотные газы.

Наконец, воя и выплеснув на меня ещё полведра кипятку, она кончила, громко пукнув, извините. И тут же залегла, как мёртвая, изображая испуг и потерю чувств от конфуза.

От всего этого кошмара я тоже неожиданно извергся. В дальнейшем она расслабилась и начала пускать газы во время полового акта непрерывно, что меня очень огорчало.

Я был грязно-багров от пережитого и напоминал разварившуюся сардельку. Затем поскакал через лужи в ванную заливать холодной водой, чтобы остудить страдающую плоть. Конёк-Горбунок в той его ипоста-

си, когда он из чана с водой студёной, в чан с крутым кипятком.

Откуда в ней столько горячей воды? Ведь не котельная же она, в конце концов. Да и не вода это вовсе, а какая-то неизвестная природе кислота. Такой гадости в природе не бывает. Совсем мы нашими ядерными испытаниями изгадили человеческую популяцию у неё на Урале. В сумеречном состоянии души возник новый мотив.

— Минуточку, уж не моча ли это у нее? — вздрогнул я, разглядывая грубый рубец у неё над лобком. — Это мочевого свищ? — Но мочой не пахло. Жидкость с запахом из неё всё ещё выделялась.

— Человек-амфибия — вот кто я. Я осторожно раздвинул пальцами половые губы, чтобы посмотреть — откуда? При этом невинном движении она снова чуть не впала в нирвану. Во всяком случае начала тяжело дышать, намекая: «пора, брат, пора».

Вот, бедняжка, заждалась. Что ж, обычный человек состоит из воды процентов на 70, а она, скорее всего, — на 99. Кроме голоса. Голос у неё пока сухой. Хотя, возможно, когда... Впрочем, об этом не будем. Пока...

Красотка тоже поскакала в ванную смазывать кремами жопу и ляжки, чтобы я не ободрал о них ладони.

В последующем, когда я почти полностью пришёл в себя и осмотрелся, вокруг было мокро, как в джунглях, где всё в туманных испарениях и что-то подстерегает.

— Пора смываться, — неуверенно подумал я. Первый акт полового шоу был закончен, и попытка сразить меня своими прелестями ей не удалась. По причине полного отсутствия у меня понимания окружающего.





«Звезда в шоке», — как говорит Зверев, который визажист или даже ещё хуже.

Ольга произвела рекогносцировку.

Она вернулась из ванны, с блуждающей улыбкой пошлёпала ко мне прямо по луже, обняла своими длинными руками и поцеловала в рот.

— Такого, как с тобой, у меня никогда не было, — прошептала она.

— Это в твоём-то предклимактерическом возрасте? Кстати, а у меня? У меня такого тоже никогда не было!

— Я просто умираю, — нежно сообщила она.

— От обезвоживания? — поинтересовался я.

— Ой, я так тебя хотела! — не дала себя отвлечь от темы Ольга.

Что-то не припоминаю я такого «водоворота» событий, хотя, бывало, женщины меня тоже «так хотели».

Они, как я сейчас догадываюсь, сообщают это всем желающим.

Она прижалась ко мне горячим, выступающим лобком, выбритым за исключением узенькой полоски над клитором, и нежно проворковала: «Давай ещё?»

Большого желания предложение не вызвало. Если его поставить на голосование, оно бы не прошло. Я чувствовал себя маленьким испуганным ребёнком, затерянным в её огромном теле.

— Покажи грудь — (последний проблеск надежды).

— Грудь — это моя гордость, — заявила она с улыбкой.

Грудь на месте не оказалось, и нос больно ткнулся в жёсткую грудь. Я внимательно присмотрелся...

— У неё совсем нет гордости, — подумал я печально и ошибся. Обе гордости висели на животе вя-

лыми сосками кормящей волчицы, иссосанной щенками. Двумя руками она подняла груди до моих глаз, положив их на свои длинные большие ладони. В этом было что-то египетское, а может, сирийское. Я с надеждой уставился на грубые тёмно-коричневые соски.

Смотрел долго.

— Убери, — уныло завершил я осмотр.

Тогда она села поперёк кровати, прижалась спиной к стене, раздвинув согнутые и поставленные на кровать ноги, призывно шевеля двумя лиловатыми медузами разбухших половых губ.

— Аэлита какая-то, — мелькнуло в голове. — Изображает кресло-кончалку. Видимо этот приём она уже применяла. Я с надеждой представил себе Зверева в такой ситуации — ведь ему тоже иногда бывает плохо, — но мне помогло мало.

Тем не менее я сказал «давай» и в сумеречном состоянии поплёлся за ней в пока ещё сухую гостиную с пока ещё сухим диваном.

— Нет! — строго решил я про диван. — Ведь спать потом всё-таки где-то надо, — и раскинул её на столе — видно, ощущение минувшего половодья во мне ещё присутствовало. Опять начался тропический ливень.

Она лежала на столе лицом вниз, и я, полный подозрений, осторожно раздвинул её ягодицы. Меня ждал ещё один анатомический сюрприз, хотя мне казалось, что я уже ко всему готов...

Из заднего прохода постепенно выползали.... «Господи, велики деяния твои!»

Нет, не глисты.

Из провисшего заднего прохода — второго места на этом Солярисе, которое оставалось почти сухим,

выползли три округлые размером с грецкий орех, серо-розовые, ослизнённые, ворсинчатые штуки.

— Слава Богу, это не геморрой, — облегченно подумал я, — это, скорее всего, полипы. — Почему «слава Богу» — неясно. Чем полипы лучше геморроя? Очевидно, всё ещё находился в сумеречном состоянии. И, естественно, ошибся. Это как раз был геморрой.

Но были и полипы. Там всё было.

А половые события продолжали развиваться: она снова зарыдала, стенки начали вздуваться плотными буграми, расположенными где-то извне, которые довольно интенсивно двигались, то выбухая, то пропадая.

— Возможно, клубки глистов — они стремятся выйти, — безразлично подумал я.

— А может, у неё не влагалище, а вообще клоака? Атавизм? (Не женщина, а тварь божия?)

— Может быть, у неё какая-то жуткая, неизвестная болезнь?

— Может, просто отклонение от нормы, подобное курской магнитной аномалии?

Чувствую, затягивает, как магнитом.

— Наверное, она всё-таки клон.

— Я должна тебе признаться, что у меня были ещё мужчины, — неожиданно проворковала моя вспотевшая подруга. У неё, оказывается, нашлась ещё вода потеть.

— Были. Неужели все погибли? Утонули? Накрылись этой самой пиздой?

Но вслух произнес:

— Да, а я думал, что как обычно. Второй. Серебряный призер, так сказать.

Тут она поняла, наконец, что плотским грехом меня не изумила (хотя на самом деле как раз и изуми-

ла), и ей пришла в голову гениальная мысль вызвать во мне жалость и сострадание, потому что видела, что я человек добрый, хотя и нахожусь в шоке. Она незаметно достала огромный шприц, наполнила его состраданием и с размаху всадила мне между лопаток, поведав следующую историю...

— Я росла девочкой большой, больной и толстой, не любимой детьми. С детства лечилась гормонами. В итоге месячные стали регулярными, а проявившееся, правда, довольно поздно, желание мужчины было столь интенсивным, что я регулярно заливала трусики и постель. Неимоверное количество прокладок помогало мало, а интерес к мужчинам оставался безответным. Я занималась онанизмом, смирившись с тем, что так будет протекать моя дальнейшая одинокая жизнь. Но тут случилось...

Попробую пересказать эту душещипательную историю.

Она влюбилась — увы! — безответно. Упрямство и гордость не позволяли смириться с созданным положением, а болезненное неудовлетворённое желание толкало к преследованию. Ольга замучила избранника разговорами о своей бесконечной любви, о готовности отдать ему всё и т. д. Она уговаривала взять её просто так, для здоровья, без любви, но ему это было совершенно неинтересно.

— Какой удивительно мудрый и прозорливый молодой человек. Неужели предполагал, что его ждёт, когда они окажутся в кровати? — подумал я.

Ольга горевала довольно долго, до первого опыта, когда дерзкий поклонник овладел ею, напившись до бесчувствия. Нашелся, наконец, человек, лишивший её девственности, после чего от ужаса интимных отноше-

ний тут же сбежал. В следующего она влюбилась и тут же отяжелела, надеясь удержать любимого, но ничего не подозревавший потенциальный папаша, который, как и все, спал с ней пару раз, да и то по пьянке, пропал с концами.

Врачи ей заявили, что если она не родит, то возможности второй раз забеременеть у неё, вероятно, не будет.

Незадолго перед родами у неё заболел живот, и её увезли в больницу, где, как она говорила, вырезали что-то огромное из прямой кишки, после чего Ольга чуть не умерла. Она лишилась полностью одного придатка и частично второго в результате осложнений. Снова операция, затем тяжелые роды, из которых она выбралась, с трудом сохранив ребенка. Она и сейчас получала гормоны, вызывая ими месячные, и без гормонов как женщина не существовала. Такой болезненной и несчастной она приехала в Петербург.

— Это возможно. Пожалуй, не врёт, — укол начал своё действие.

Страшная история жизни. Такая история на кого угодно могла произвести впечатление. Тем более на мою сострадательную душу.

Жалость и сострадание заполнили меня по ноздри. Вот что значит вовремя сделать правильный укол. Мужчины, будьте бдительны! Предохраняйтесь!

— Какая она несчастная! — мысленно запричитал я, падая в бездну. — Неужели я, взрослый человек, тоже её брошу, как легкомысленный отец её ребёнка?

— Нет, нет, оставить её страдать я не могу. Как достойно она несёт свою боль.

— А как она была чувственна, несмотря на..! — шприца-то я и не заметил, идиот. И ничего, что потом

буду мазаться и отмываться неделями. Человек может привыкнуть ко всему влажному и мокрому и во всём найти удовольствие. И я её не брошу, пока не подсохнет.

Лекарственная смесь работала — ай да Ольга, ну прямо Медичи Юсуповна.

Я лежал в изнеможении, уже почти полностью потеряв разум, и лепетал:

— Как она чувственна, бескорыстна, жертвенна, страстна.

Это было началом долгой потери рассудка, который временами пока ещё ко мне возвращался.

Что касается физического влечения, то на самом деле оно оказалось метафизическим, то есть глубоким, непонятным и тёмным, как чёрная дыра (опять я о дыре).

А постольку влечение сугубо метафизическое, то оно ущербно, ранимо, болезненно и в одиночестве нежизнеспособно. И тогда в болезненном мозгу возникает идея:

— Мне с ней хорошо, что еще надо. Я буду с ней жить. Буду её любить. Потому что без любви как я перенесу этот половой кошмар?

Через несколько дней, лёжа у себя на диване, я уже размышлял...

Придётся, видимо, менять жизнь. Вообще — это чушь. Как можно её изменить? Жизнь — это болезнь или судьба. В сущности своей — божья кара. Насмешка богов. Заканчивается смертью. Изменить невозможно. Можно только затянуть агонию.

Но немногие это осознают. Огромное большинство придерживается мнения, что они на самом деле влияют на жизнь и здоровы.

Счастливы, пока не заметят, как неуклонно приближается костлявая. И тут они впадают в депрессию,

в транс, становятся противны себе и окружающим. Как будто раньше не догадывались, чем кончится. На некоторое время помогает тщеславие.

Правда, есть одно лекарство от невыносимой жизни.

Страшно болезненное при применении и смертельно опасное, потому что по существу это яд. Божий промысел, так как в сути своей это тоже смертельная болезнь. Как и существование.

Древние говорили: «Подобное-подобным». Отраву — отравой. Ибо жизнь — это, безусловно, отравка.

Любовь. Позволяет полностью избавиться от жизни. Иногда сразу. Иногда довольно медленно и мучительно.

Что же мне известно о любви как о болезни, и почему я о ней думаю сейчас? У меня есть предвестники? А любовь начинается с предвестников.

Ну, сочувствую я одной не очень счастливой и больной женщине, страдаю. Ну и что?

— «Дорогой(ая), мне кажется, я тебя люблю», — это не предвестник, это идиотизм. Как и слова «я не могу сразу, я должна(ен) к тебе привыкнуть».

— Может, предвестники все-таки есть у меня? Зачем мне эта болезненная, непонятная женщина?

Заболевание любовью, как и чумой, возникает всегда внезапно, иногда остро, и быстро заканчивается смертью (радикальное излечение от жизни). Иногда протекает хронически, тогда частенько следует излечение и возвращение в жизнь, что, впрочем, бывшего больного не радует. И подчеркивает, что любовь не иллюзорное, а вполне реальное состояние с драматическим финалом.

Сами влюбленные при этом чувствуют себя абсолютно здоровыми людьми.

Нормальное общечеловеческое заблуждение, которое приводит к тому, что некоторые умники стремятся заболеть по нескольку раз. Скорее всего, мы имеем дело с видом наркотического отравления. Таких многолюбивых субъектов обзывают помешанными из-за их непрерывной, немотивированной радости бытия.

В популяции любовь — это кратковременное, эпизодически повторяющееся состояние в виде лёгкого недомогания типа соплей, иногда кровавых, а вот когда заболевание течет всю жизнь, периодически обостряясь, таких неизлечимых больных в народе называют счастливыми.

Попробую выделить фазы. Возьмём наиболее тяжёлую форму, когда заболевание носит хронический, трудноизлечимый характер, несмотря на предпринимаемые разумом меры.

И если допустить, что любовь — болезнь, тогда исчезновение любви можно считать выздоровлением, отсутствие её — здоровьем или, как говорят врачи, нормой.

Болезнь чаще всего начинается с любовной горячки — общеизвестной потери рассудка. Не будем задерживаться. Состояние быстро проходит или переходит в следующую фазу.

Окружающий мир в этот первый период отравления, и в первую очередь объект и причина болезни, приобретают фантастическое, немеркнувшее сияние. Женщина и мужчина теряют связь с реальностью и забираются внезапно в самые дальние и порой болезненные уголки собственных душ. Сила галлюцинаций такова, что проходит какое-то время, и даже практический человек, переболев любовной лихорадкой, убеждается,

что его здравый смысл и есть полный отстой. И всё последнее время он непрерывно бредил: «А вот сейчас, любя и т. д.». Вот к чему приводит даже лёгкое соприкосновение с любовной болезнью рассудительных мудрецов. И что тогда поделаться мне, в условиях стремительного падения в любовное страдание, с этой кошмарной женщиной?

Ощущение нового иллюзорного мира настолько реально, что реальность (которая на самом деле, как мы знаем, тоже сон), становится бледной копией, тенью, болезненным фантомом ненастоящей жизни.

Жизнь была утомительным спектаклем. А сейчас влюблённый проникает в истинный мир и истинное существование, и внезапно ему открылось понимание. Он неустанно твердит: «Я совершенно трезво смотрю на мир». (Что возможно.)

Собственно говоря, может, так и есть — кто знает?

Тем не менее налицо извращённый характер психических реакций.

Раздражающая реальность в виде недостатков характеров и внешности любимых, вспыльчивости или, наоборот, невозмутимого спокойствия, неопрятности или чрезмерной аккуратности, редких волос на голове или некрасивой походки — всё исчезает в восторге запредельного ощущения близости и проникновения, приводит к обморочному состоянию в моменты постоянно желанной близости. Половое соответствие партнеров, что встречается довольно редко, усиливает ощущения, осложняет клиническое течение болезни, уменьшает надежду на излечение. Половое соответствие можно развить, выработать или получить в результате благожелательного взаимопонимания и быстро прогалопировать путь до умопомешательства.

Стремление к близости у таких больных остается абсолютно непреходящим и болезненно желаемым ощущением как в иллюзорном, так и в этом реальном мире.

Теряются сомнения, критика, недоверие, обиды, что является свидетельством неудержимого развития страдания.

Это третий мир бесконтрольного проникновения в чувственную среду друг друга, мир физического единства, и повреждение его убийственно для любви и, таким образом, ведет к выздоровлению. В этом парадокс: разрушаясь — выздоравливать.

К несчастью для здоровья, мир, в который проникли любовники, коррозия, если только сами влюблённые насильственно его не подточат, подвержен мало. Выброс любовных токсинов нечувствителен к лечебным мероприятиям, выпадам друзей и завистников, стремящихся «из хороших побуждений» его изменить. Конечно, при условии, что мы имеем дело с настоящим умопомрачением, болезнью, а не симуляцией. Хотя кому известно, где начинается одно и заканчивается другое.

Такова первая фаза страдания — острая, а в течение болезни рано или поздно наблюдается переход во вторую фазу — хроническую.

Неожиданно, исподволь накапливается усталость от избытка чувств. Становятся излишне ощутимы нанесенные обиды. Любящие держатся высокомерно или, что ещё хуже, становятся вежливы и безразличны, не замечая, как затаптывают и забрасывают песком огонь любви. Страдая, они намеренно редко встречаются друг с другом или не встречаются подолгу — «устают». Углубляются бездумно в различия характеров и пони-

мания окружающего, делая то, что их соединяло, областью неприятия.

— Я же умный человек. Какой же я был дурак, что встречался с ней! — говорит влюблённый себе. Это лишнее свидетельство того, что он ещё болен.

Так как объективно, с точки зрения окружающих, он как был дураком, так и остался.

В эту первую страдательную часть второй фазы болезни легко сломать себя, «прозреть» и, таким образом, выздороветь от любви, поправиться.

Этому мешает неослабевающая тяга к близости, к мгновениям потрясающего проникновения друг в друга. К моментам небытия, от которых невозможно, реально отказаться. Приступы маниакального восторга означают, что психическое здоровье рушится и болезнь переходит в следующий период второй фазы, назовём его временем охлаждения и нетерпимости.

В процесс болезни оздоравливающим компонентом вмещивается быт. Хорошо работает внушение: «Любовь-любовью, но кушать и жить где-то нужно». Немедленное воплощение подобных идеалов быстро ведёт на поправку, причём женщины обладают большей мерой практицизма, часто выдавая свой бред за трезвый ум, хотя практицизм и является бесконечной, вселенской глупостью, способной погубить лучшее в их мгновенно пролетающей жизни.

Так называемое «устроиться в жизни» — прекрасное лекарство от любви. Такие люди чаще не болеют, а претворяются больными. Женщина подобное называет способностью «здро́во смотреть на вещи».

Одна молодая идиотка с дремучим именем, безумно боящаяся беременности в наш век контрацепции, постоянно проверяла пальчиком, на месте ли презерва-

тив, и при этом истошно выкрикивала: «Ты контролируешь ситуацию?» Ну, скажите, пожалуйста, на милость, какая может быть любовь, если «контролируешь ситуацию?» Это не любовь, а секс в виде параллельного слалома: она — сама по себе, ты — сам по себе. Одна мастурбация на двоих. И как же ей жить в своём бесплотье?

Мужчина и раньше замечал снисходительно-неуклонное устремление устраивать себя, мелочность и даже скаредность, но серьезного значения пока этим черточкам не придавал.

— Да возьми все, что у меня есть, — думал он — может, тогда это у тебя пройдет?

Не проходило, потому что ей всегда мало.

— И что это она меня все время склоняет к доставанию и доставанию? Что надо? Жить есть где, на еду хватает, изредка съездить в турпоездку можем. Твоих денег и средств, дорогая, сколько бы у тебя их ни было, мне не нужно.

Вылезает червяк сомнения.

— Минуточку! А ты любишь? Любишь, если у меня ничего нет?

— Дорогой, ну так принято. У мужчины должно быть.

Встречи стали не ежедневными, задул холодный ветерок отчуждения, появилось лицемерие. Думали они друг о друге пока ежедневно, встречаясь, охотно ложились в постель, где на некоторое время отчуждение забывалось. Днём скрытое недовольство возвращалось.

Женщина для отторжения придумывает и другие причины, и, если так решила, — сама в них верит. Такова симптоматика. Обычно это что-то вроде: «Он меня бесконечно обижал, унижал, не говорил о любви».

— Ну и слава Богу, что не говорил, — подумал он.

И если так продолжается, наступает, наконец, безразличие. Любовь заканчивается, и они возвращаются в жизнь, от которой спастись не удалось. Выздоровели.

Но чаще страдания переходят в третью часть второй фазы.

Это полоса непрерывных раздумий, что наступил конец отношений. Всё уже не так. Больные не чувствуют радости. Их связь приобретает тягостный, надрывный характер. Иногда они даже замечают в себе совершенное равнодушие. Редкое общение удручает из-за взаимных уступок, которые, как им кажется, они делают, а потом горько сожалеют об этом.

Это долгая и скучная полоса может быть несколько месяцев, даже лет.

Ипохондрия. Усталость психическая и физическая, несмотря на в общем-то благополучное здоровье.

Погружение в мир своих взаимоотношений. Им кажется, что они ищут правильный выход. Думают друг о друге постоянно, и желание близости не уменьшается, обнаруживая скрытое течение болезни. Затем следует возвращение болезни. Вдруг кто-то, например он, прозревает.

— Да что это такое?! — вскрикивает он. — Какое имеет значение, какая она, если я без неё совершенно не могу? Она мне нужна, и немедленно! Мне нужно к ней притрагиваться, быть около неё. Рассказывать, как я всё это время мучаюсь. Не может быть, чтобы она меня не любила! Я же вижу, какая она со мной, какая она! Свет её мира заполняет его. Окружающее исчезает, и только её руки, губы, тело, её мерцающее цветение переполняют его, кажется, уже навсегда.

Хорошо, когда рецидив вспыхнул у них одновременно. Вернее, это плохо — болезнь сразу приобретает необратимый характер, — зато с этим они могут долго жить.

У неё, в связи с некоторой заторможенностью воображения, обострение болезни наступает позже в виде неустойчивости психики. Тогда она тоже пытается не упустить вновь открывшийся в любимом мире, если понимает, что у неё больше такого мира нет и не будет.

Достоверность любовных галлюцинаций сродни наркотическим.

Рано или поздно у таких субъектов любовь побеждает всегда, в своём ошеломляющем великолепии, чистоте, страстности и безнадёжности выздоровления.

Сквозь ткань любви отчётливо проступают новые, тяжёлые симптомы — преданность, долг, терпимость, уважение и привязанность.

Любовь переходит в третью, вяло текущую фазу и становится практически неизлечимой.

Она продолжается бесконечно долго, больные чувствуют себя комфортно, спокойно, даже счастливо, как на отделении для буйно-помешанных после электрошока, с редкими и кратковременными периодами недомогания и печали. Появление детей еще больше уменьшает надежду на выздоровление, и страдание заканчивается вместе с жизнью пациентов».

С трудом натаскав дров, он развёл костер и повесил котелок с водой. Собака лежала у пенька, наблюдая.

«Лежишь? Ну, лежи, лежи. А я потихоньку приготовлю нам еду. Вот только посижу рядом с тобой, отдохну». — Он задумался.

Итак, бежать автору не удалось. Он сострадал. Но за этим скрывалось ожидание чего-то более важного, рокового, иначе к чему размышления о жизни и любви? Старик открыл папку:

«Ольга умело и как бы само собой возвращалась к разговорам о неустроенности, одиночестве, неприязни себя мужчинами. Слушая её, поначалу возникала мысль: ну, кому ты нужна, страдальца? Такому же помешанному, как я? Однако Ольга всегда была начеку.

Вводилась доза со следующей печальной историей, и снова она становилась заманчивой и привлекательной. Возникала Ольга страдающая, любящая, преданная, необъяснимо-влекущая при сохранившемся пока чувстве её физической ущербности.

Экстаз и неодолимое желание пожертвовать собой переполняли меня. Как у камикадзе, которые всё ещё бродят по дорогам Японии со Второй мировой войны. Это были такие японские евреи, которые спасали страну, если уже не было других возможностей. Они пели гимн, садились верхом на торпеды и взрывались вместе с кораблями противника, твёрдо зная, что им самим ничего не грозит. Как они выживали вопреки здравому смыслу, до сих пор неизвестно. Тем не менее факт налицо. А меня наши неповторимые совокупления с примесью боли и омерзения вели неуклонной дорогой к мазохизму и помешательству.

— А может, ей видится квартира в центре города, муж с положением и в возрасте — чтобы не сбежал? Такая перспектива, с её точки зрения, стоит хлопот? Тут она немного добавила раствора, и мои мысли вновь изменили направление в сторону сострадания и самобичевания.

— А я должен любить и беречь весь этот паноптикум. Чего я только не насмотрелся, но такого не видел. А ведь это хорошо. Получается, что она исключительная, а при интимных отношениях даже омерзительная. Неповторима до ужаса. Но это в принципе не важно. Сколько же мне ещё предстоит увидеть и заставить себя это полюбить. Предстоит большая работа души, а душа моя зачерствела, я стал бесчувственным, вот в чём дело.

Доктор же моя, конфузясь, заводит меня к себе в комнату, где ничего нет, кроме соломенной циновки на полу, чайника и стакана на табурете.

— Это ничего, это все временно, — успокаиваю я. А то она не знала!

То вспомнит, что у неё там, на Урале, больной мальчик с, естественно, почти смертельно больными её родителями.

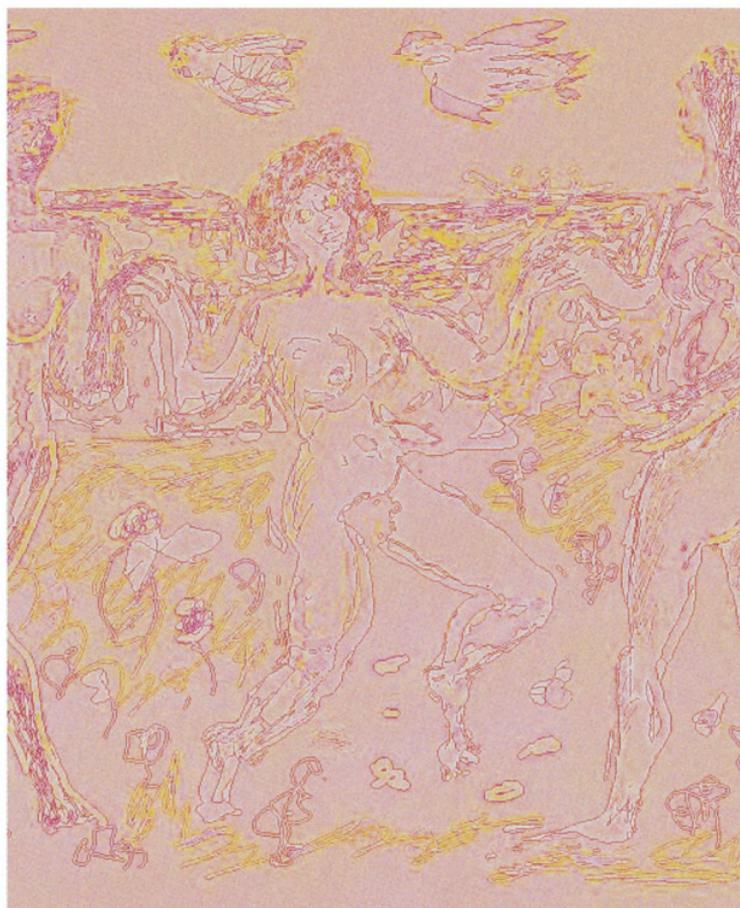
— Возьмём и мальчика. Мы потихоньку приживёмся.

Количество проблем нарастало лавиной. Одежда. Даже в магазине для гигантов ничего нельзя купить. Приходилось шить, что, как известно, недёшево.

Это не повязка на лоб и на торпеду. Ничего не поделаешь. Зато она в моих глазах становилась всё интереснее. Я привязывался к ней.

Прошло два-три месяца. Я прочно «сидел» на игле сострадания, остатками разума пытаюсь зацепиться за реальность. А она состояла в том, что представление о нежной и ласковой женщине полностью разбивалось о то, что я видел перед собой в минуты просветлений, когда мир приобретал реальные очертания при задержке очередного укола.

Эти реальные ощущения были болезненными, и, чтобы уменьшить боль, мой мозг делал её образ двой-





ственным. У меня были видения, где она существовала совершенной и прекрасной.

Но это была и не она вовсе. Совершенно другая женщина вытесняла её в моих сновидениях: не брюнетка с серыми глазами, крупная и грузная, а тоже очень высокая, длинноногая, но при этом утонченная и изящная молодая женщина, проплывающая в радостном удивлении «Вот я какая!» среди множества лиц — хмурых, с печатью безысходности и бесконечных угрюмых забот.

— Неужели это видение имеет какое-то отношение ко мне?

Но я узнал этот благородный нос, эти пухлые и при этом хорошо очерченные губы и голос, иногда щёлкающий трелями какой-то диковинной, сказочной птицы.

— Ты опоздала на целых две минуты, — огорчённо сказал я, — иногда это вечность.

— Я спешила, я спешила. Я хотела видеть тебя и слышать.

— Почему?

— Потому, что когда ты говоришь, я меняюсь. — Я не узнал её слов. Ольга так не разговаривала.

— Что же я говорю такого, Ольга?

— Я не Ольга, — вдруг заявила она.

— А кто же ты?

Она не ответила.

— Но ведь я тебя не знаю.

— Ещё не время, узнаешь, — ответила она непонятно.

В её красоте было что-то давнее, непреходящее, которое существовало, возможно, ещё до появления людей и будет существовать потом, и потом, и потом.

«Без изъяна», — вспомнил я Ветхий Завет.

— Это значит, я люблю совсем другую женщину, которую я не знаю и даже не видел. Точнее, не видел, но уже знаю, что она именно такая и будет, — подумал я. И тогда, во сне, мне казалось, что она другой быть и не может. Не может — и всё!

Потому что на самом деле её не будет, так как она уже есть. Всё это было не очень понятно, но во сне казалось абсолютно ясным.

Там, во сне, я заходил к ней в её маленькую комнату с жёлтыми обоями на тонких стенах, за которыми жили соседи-призраки, потому что я их никогда не видел и не слышал, но тем не менее она их, как и положено в общих квартирах, опасалась, и мы там, в комнате, говорили полужёпотом, тоже чего-то опасаясь.

Комнатка всегда вызывала у меня радостное предчувствие, которое и реализовалось, как только она входила, как правило, с чем-нибудь очень важным — цветком, или веточкой винограда, или какой-нибудь вазочкой, в которую она поставит цветок потом.

По тёмному коридору я ходил тихо и осторожно, в поисках места, где существовали тапочки, которые, надев, мне необходимо было тут же скинуть, входя в комнату. Таков был её приказ.

Я очень старался делать это добросовестно, но, к своему ужасу, часто путал и входил в комнату в тапках, а выходя в коридор, наоборот, их снимал, вызывая негодование.

Были ещё моменты — её требования к абсолютной чистоте более интимного свойства, о которых я сказать стесняюсь, хотя во сне их видел отчётливо.

Потом я устраивался на диване, вытянув ноги. Учитывая бестапочное хождение по комнате, разницы в чистоте между разложенным диваном и полом не было

бы никакой, если бы я, конечно, из раза в раз не забывал скинуть тапки перед дверью, что, возможно, наводило на размышления о наличии у меня злого умысла, которого, как перед Богом клянусь, у меня не было.

Кроме того, в дверном проеме висела занавеска из плетенных жестких веревок, с расположенными между ними деревянными колечками. Занавеска очень красивая, но я постоянно почему-то царапал о нее лицо, изредка обрывая деревянные колечки и суетливо их пряча. Однако настроение радости и ожидания чего-то прекрасного от этого не проходило, и всё было полной ерундой по сравнению с ощущением рая, в который я попал.

Она пересаживала меня за стол и, сидя рядом на своем стуле, скрестив на нём ноги в какой-то полной немыслимой сложности восточной позе, кормила меня вкусным, наблюдая искоса, как я ем, и при этом подперев щеку.

Она была нежна и загадочна. Прижимаясь и обнимая меня всей собой и ногами, она вдруг резко отстранялась и исчезала прямо у меня на глазах, когда я уже пропадал в ней. И на меня обрушивалось безмолвие, недоумение, удивление этой холодной немотой небытия в только что уютном, теплом мире её присутствия. Тогда сквозь сон я начинал слышать звуки окружающей жизни и сжимался изо всех сил, стараясь не проспать.

Внезапно оказывалось, что она совсем рядом со мной, под одеялом, только где-то вверху, в области подушек, и почему-то лежит поперёк. И смеётся — как хорошо она надо мной подшутила. Видимо, вид у меня был до того глупый, обескураженный и потерянный, что не смеяться ей было просто невозможно. Тем не менее

очень обидно было слышать этот смех в столь удручающей меня обстановке разочарования от внезапной её потери. Тут она снова легко обвивала меня, прикасаясь своей удивительной кожей и двигаясь неповторимыми, волноподобными движениями. Тогда я тонул в огромном, первозданном океане её бытия.

Пошевелившись немного, как какой-то чудной красоты и грации зверек, как куница с блестящей шерстью, пышным хвостом и чёрными круглыми, блестящими глазами, плавающая в мягком лёгком снегу высокогорного перевала там, над Чимбулаком, она неожиданно уставала и, ещё раз удивив меня изяществом своих движений, беззвучно засыпала, разбросавшись по кровати, оставив у меня на плече только свою голову.

Я лежал не дыша и думал: как же я люблю эту женщину, совершенно мне не известную ещё только что. И вот она спит, а я буду думать и узнавать — кто же она такая? И, может быть, я бы приподнял голову и посмотрел на неё, но боялся пошевелиться и разбудить.

— А вдруг это сон? И я проснусь, а она исчезнет? — испугался я.

«Сильна как смерть ...»

Скрип тормозящего автомобиля. Я проснулся, горестно цепляясь за остатки сна, за исчезающее чувство любви, которое это утро отняло у меня.

Я проснулся, и она исчезла. И это хорошо, потому что я не увидел в недалёком будущем «срань господню», со злым лицом сидящую за рулём красного «Яруса» с извращённым холодным и бесстыдным сексом школьницы, фригидную и грубую.

Мы с Ольгой часто бродили по городу и сейчас двигались по набережной Мойки, противоположной Юсуповскому дворцу. Где-то здесь, в маленькой — во-

семь-десять метров — сырой и полуразрушенной мастерской, под чердаком жил художник Яшке.

Интересно, что я всё окружающее, кроме Ольги, воспринимал абсолютно ясно и занимался своими обычными делами. В общем, был нормален. И только Ольга являлась реальностью, на самом деле не существующей, и только изредка я видел её такой, как она есть, ясно. И это было болезненно.

Реализовывался симптом раздвоения личности? Не знаю. К тому же мне начали сниться гадкие сны. Это были кошмары и я, просыпаясь, их испуганно забывал. Но угнетённое состояние оставалось долго. Я злился. Сейчас я с раздражением следил за её долбаной походкой...

— «Ты сейчас не из тайги вышла. Попробуй ходить иначе, — настойчиво советовал я ей. — Гордо. Не так, как будто несёшь на плечах чемодан с чем там у вас? С кедровыми орехами, которых набрала задарма как можно больше. Иди, будто ты на подиуме. Ставь ногу легко и прямо, по линии».

— Я не могу так — у меня спина болит, — отвечала она, глядя на меня глазами полными любви, которую она постепенно подмешивала в шприц с лекарством на «сострадание».

Я почувствовал привкус, к которому не привык. Любовь и страдание — сильная смесь. Но, видимо, соотношение компонентов в препарате она не до конца продумала, и я озлился.

— На улице у женщины не бывает большого позвоночника. — Мне хотелось всё время видеть её совершенной. — (И широкой плоской жопы, — тут же подсказал мне внутренний голос.) Новая смесь, наконец, подействовала, и я ужаснулся себе...

— И какая мне разница? Что я, походок не видел, что ли? Походка у неё по-своему красивая, даже неповторимая. Ей трудно. Она в другом городе, в другой среде. Ей нужно менять привычки, речь, стиль и ценности жизни. Ей нужно лечиться. Ей так много нужно.

— Ты о чём думаешь? — подозрительно спросила она меня.

— Я думаю о Яшке...

Мы с ним познакомились в «фонарных» банях. Он туда заходил, когда имелись деньги на билет или когда он мог их найти, — Яшке пил.

Его круглое самурайское лицо, с раскосыми карими глазами, умными и добродушными, которые он привёз с Дальнего Востока, где, как и я, провёл детство, располагало к беседе. Мы увлечённо погрузились в наши воспоминания.

Несмотря на большую дозу алкоголя и расслабленность тела, его мысль оставалась абсолютно ясной. Мы обсуждали разные японские, корейские и китайские штучки, которые мы помнили, особенно японские — с японцами себя Яшке периодически отождествляет. Скорее всего, в шутку, а может, и серьёзно.

Пил он всё, что давало градус и было по средствам.

— Может, тебя полечить? — спросил я однажды, — я тебя устрою в хорошую клинику. — Но лечиться он не хотел. Володя не принимал мир, который его окружает, и страхом смерти его не запугать. Его мир — живописный и радостный, ошеломляющий, — ему был достаточен. Особенно морские пейзажи. Он с ними болезненно расставался. Даже когда покупали.

У Володи в мастерской некоторое время жил его друг, грузинский художник. Они спали вместе на одном узком топчане. У друга была финальная стадия ле-

гочного туберкулёза с кровохарканием. Друг так и умер на топчане рядом с ним. Володя Яшке — человек бесстрашный. И по-прежнему пьёт, продолжая свой одинокий путь самурая...

С моими друзьями мы теперь встречались постоянно, и Ольга, вдруг смекнув, как это для меня важно, так полюбила их, и их жён, и их искусство, что просто уже не представляла, как жила раньше без этих замечательных людей. Добрая, тихая, услужливая, с такой любовью и преданностью в их присутствии смотрела на меня, что эти полудурки решили: «Это верная женщина». И что совсем непонятно, так думали и женщины. О себе я уже не говорю.

— Ты посмотри, она же тебя любит, — сообщил как-то Заславский, пророк херов.

— О! — обрадовался я, но на всякий случай спросил, — тебе интересно с нами, Ольга?

— Да, очень. Мне ещё многое непонятно, и надо чаще с тобой бывать.

Много ли нужно доверчивому и восторженному недоумку? Постоянное молчаливое согласие. Эти знаки внимания и заботы: «У тебя пятно на свитере, снимь, я постираю», — и так покойно, уютно, тепло, а у тебя такого не было Бог знает сколько времени. Наконец-то корабль приплыл (опять «приплыл» — после первой ночи любви ощущение наводнения, точнее потопа, меня не покидало) в гавань. (Довольно обосранную, нужно сказать.)

Всё свободное время мы бродили по улицам, и, сидя где-нибудь в кафе, она смотрела на меня обожающими глазами. Когда я уезжал в командировку, она звонила мне непрерывно, чтобы сообщить, как она скучает.

Завтра мы отправимся к Паршиковым на день рождения Володи. Выйдем из метро «Пушкинская», перейдём Загородный, и тут же, на третьем этаже большого серого дома «модерн», в бывшей огромной квартире Ириных (жены Паршикова) бабушки с бабушкой, в трёх комнатах (результат послереволюционного уплотнения), будет проходить торжество.

Дверь открывает грустный Паршиков. Он постоянно грустный, или задумчивый, или немного расстроенный либо мыслями, либо какими-то болезнями, но когда он улыбается, его лицо и даже окружающая его атмосфера преобразуются в состояние светлого, улыбчивого покоя, а в зрачках зажигаются весёлые точки.

Володя живописец, и это редкое качество к нему относится в полной мере.

У него есть свой Петербург — грустный, задумчивый, временами безысходный в своём безвременье. Благородный и сдержанный, обречённый на вечность изысканным уникальным чувством цвета художника. Петербург, безвозвратно погружающийся в твою душу.

Ольга появится в виде красивой женщины, и все гости — Фронтинский с женой, сын Паршиковых, тоже с женой, ещё неизвестный мне художник по интерьерам, а также супруги Паршиковы — все бросятся подчёркивать и удивляться, какая Ольга красивая и хорошая, и даже замечательная, и начнут нас усаживать непременно вместе, и угощать, и произносить тосты, и шутить осторожно, чтобы, упаси Бог, не обидеть. В общем, полный бомонд. И ещё пирог с капустой.

И Ольга будет так стараться, что щёки её покраснеют, а над верхней губой появятся маленькие капельки пота.

И тут мне снова вспомнится Заславский, который считает всех женщин красивыми, а всех художников талантливыми. Поэтому он желанен и любим на всех вернисажах, премьерных выставках, собраниях, показах, куда его непрерывно приглашают выступить и где при этом за долгое время он никого не обидел.

Он обычно долго смотрит на холст, на который Задорин бы коротко взглянул и тотчас отвернулся, при этом пробурчав или не пробурчав.

А Заславский отыскивает кусочек на холсте два на три сантиметра, где, с его точки зрения, в отличие от остального полотна, всё случилось замечательно, и в течение всего своего выступления говорит только об этом шедевре два на три.

При этом он совершенно не врёт, хотя и врёт, сукин сын.

То же самое происходит и с женщиной, но не в том смысле, что он на ней находит кусочек два на три. До этого дело не доходит.

Но самое ужасное случается, когда Заславский сообщает:

— Приходи, я тебя познакомлю с девушкой. — Девушки обычно бывают лет семидесяти. Но не это самое страшное — самое страшное, что они на столько и выглядят.

В обнимку, влекомые судьбой и обилием феромонов имени Ирочки Заславской, мы поплелись с Ольгой через Поцелуев мост к каналу Грибоедова, где в угловом со Средней Подьяческой доме на четвёртом этаже она купила комнату в трёхкомнатной квартире. Ещё две комнаты занимала гнусная старуха, пролетарско-совдеповская коммунальная жиличка, ведущая непрерывную войну за места общего пользования. От неё

постоянно исходило скрытое желание непримиримой вражды, запах гниющей одежды и готовность к битвам за коммунальные преимущества. В комнате Ольги ничего не было, кроме циновки на полу, маленького столика и двух стульев.

— Видишь, как у меня пусто, — сказала она. Я завёлся и бросился в быстро раздевающееся море страсти. Там уже кишело.

— Я так тебя люблю, — последовало заявление (вставлено в перерыве, чтобы усилить действие).

— Но у меня трудный характер, и я не очень семейный, — пытался я сопротивляться неудержимо надвигающемуся браку.

— Я вижу это, но люблю тебя и буду любить всегда. До конца, — в пылу она ввела лошадиную дозу коктейля.

Слово «всегда» вызывало сомнения, а обещание «до конца» всё-таки насторожило.

— Очевидно до моего конца, при среднестатистической продолжительности жизни у нас в 57 лет.

— Она рассчитывает года на три-четыре, примерно. Минуточку, а разброс статистических данных? Придется мне позаботиться о деньгах на похороны, опять же на мои.

Но тут укол подействовал — я снова её любил и верил. Что-то во мне сопротивлялось, но, честно говоря, немного.

Она сидела голая на стуле в плотном корсете на пояснице и в лечебном воротнике на шее — подбородок был задран, как я понимаю, чтобы голова не свалилась на сторону или не провалилась известно куда. Головой она ворочала с трудом и косила глазом. Картинка мало пригодная для эрекции при правильном, конечно, её использовании, но... уколы, уколы, уколы...

Ноги раскинуты, чтобы всё было видно, и вначале вокруг ещё сухого отверстия с сухой коричневой корочкой и твёрдыми кристалликами засохшей пены по краю волос появляется белая, а затем зеленоватая пеннистая жидкость, как в рекламе, где в замороженный зелёный стакан наливают свежее пиво до краёв, и ты в предвкушении необычного облизываешь эти покрытые волосами края, обещающие близкое счастье утоления жажды. Соски набухали и твердели.

— Покусай мне сосочек?! Покусай! Ой, как ты это делаешь!

Укол сводил меня с ума. Я целовал и кусал сначала соски, затем её маленький ротик, — сначала нижнюю губу, потом верхнюю, прямо под текущими из носа соплями. Она к тому же и простудилась.

Ах, Ольга, Ольга! Чихания, хрипы, мычание, стоны — и всё это под аккомпанемент неизменных звуков. И они меня раздражают даже в моём сумеречном состоянии. Но это скоро пройдёт. Я люблю эти звуки, я привыкну.

— На таком огромном теле ну просто нет кусочка, свободного от болезни, — восхищался я. То у неё вдруг от холода появляется насморк и слезятся глаза, то месячные приходят через 14 дней после предыдущих, то раскалывается спина от долгого сидения за компьютером. Её общее уныние всегда заражало меня энергией.

Как это положительно влияет на влечение: только себе представишь, как она гнусаит от простуды, с бешеной скоростью наполняешься кровью и несёшься к ней, чтобы вновь оказаться в её опрелом пахнущем пространстве. И это мне — человеку, которого раньше от слова «воняет» тошнило. Что за божжат-

ник. Я лежал, прижавшись к её большой мокрой спине, и ликовал:

— Она мокрая, потому что так меня любит».

Читающий дневник смутился. Эта женщина и записывающий больной человек совершенно не были ему знакомы. Он подглядывал за чужой, интимной и к тому же неприличной жизнью. «Нет, это вряд ли писал я. Но Ольга? Это имя меня тревожит. Возможно, они были мои друзья или знакомые? Не припомню, чтоб когда-нибудь её знал».

Старик забеспокоился. Он боялся читать дневник дальше, уже догадываясь, что, возможно, это он сам написал, но внутренне принять того, больного человека, за себя не хотел. Он себя им не чувствовал, и ощущения его раздваивались. Это было опасно. Заныло за грудной. Неприятно.

Он устал и присел у костра. Проснулся от повизгивания собаки около сарая. Котелок с водой перевернулся, вода залила огонь. Опять ему было холодно. После нескольких солнечных дней начался дождь — противный, холодный, бесконечный. Он снова разжёт костёр и пошёл наколоть дров.

Болело распухшее плечо, топор выпадал из трясущихся рук. Он вспотел, несмотря на холод. Потом был озноб и лихорадка. С трудом наколов охапку дров, он вернулся к костру. Кончилась вода в канистре, и следовало пойти на родник. Этот путь отнимал много времени и сил. Иногда он не выдерживал, возвращался с полдороги и пытался снова пойти на следующий день.

«Не пойду я сегодня за водой, устал», — старик проковылял в дом и открыл папку. Несколько страниц было зачёркнуто. Далее следовало...

«Шакунтала — любовное томление, свойственное героям индийского эпоса и — постоянно — соседу Заславского Виктору, о котором я скажу позже, охватило меня.

Уже несколько месяцев я с ней встречаюсь и привязываюсь всё больше и больше, но периодически обескуражен невесть откуда появляющейся у неё изредка в отношении ко мне прохладой, нежеланием нравится. Вот сейчас она надела трикотажные шорты, которые несуразно висят на её плоском и широком заду. В широких штанинах болтаются колени. Однако налюбоваться собой она не даёт.

Ольга прелюдий не понимает: обнять, погладить, поцеловать, пошептать что-то нежное — это не для неё. Быстро разделась — сразу в койку и — развела ноги.

— Со мной никто не нежничал, и я холодная, — оправдывалась она, видя моё недоумение, но уколоть тогда забыла, и ниточки трезвости проросли во мне.

— Ну, ещё бы, а я-то тут при чём? Вот убегу сейчас, как другие. Но не убегу — уже раздевается. Сейчас с трудом выпрямит свою больную поясницу и скажет:

— Давай стоя? — Очень любит стоя, что противоречит концепции Дарвина о происхождении видов. Возможно, предчувствует, что больше стоять не сможет из-за больного позвоночника. Хочет пока наслаждаться.

Прижмётся к стене, одну ногу поставит на стул в стороне, как ящерица на стене дома, и подсядет — ноги-то длинные. Тут следует держать её за попку, чтобы она не рухнула (не задница, конечно), потому что своими руками она держит то, что может выпасть, когда она начнёт фонтанировать. Способ замечательный, только у меня ноги устают. Зато очень удобно целовать соски,

свисающие перед носом. А в будущем, когда её позвоночник вообще окаменеет и перестанет гнуться, её можно будет, как настил, укладывать на бугорках без риска нежелательных прогибов и внезапных проваливаний. Это удобно. И без опасности вагинизма.

— Что-то не нравится мне наша любовь последнее время. Скепсис. Некрасиво.

— Где же ты моя невеста со шприцом? Введи. (Иглу, конечно). То есть открой рот и расскажи мне какую-нибудь печальную историю, чтобы я любил плача.

Она ввела, рассказав про стервеца, папашу её сына, по сравнению с которым я почувствовал себя прекрасным, благородным человеком. И снова утратил какое-либо соображение, а потом побежал мимо пролетарской бабки в ванну для лечебно-гигиенических мероприятий.

«С ним, наверное, забавно», — подумал читающий, перекладывая лист.

— Мы сегодня приглашены к Завену в мастерскую вместе с Заславскими. Уже пора, — сообщил я Ольге, вернувшись из ванной. Она быстро собралась...

Гений Заславский и гений Аршакуни сидели в мастерской и беседовали. В маленькой прихожей, украшенной знаменитой уже резнёй по дереву, суетилась у газовой плиточки Нина, нагревая чай. (Готовить и спать в мастерских нельзя, даже прилечь отдохнуть нельзя, потому что диваны или кушетки в мастерских тоже запрещены по идиотскому приказу городских властей.)

Говорил речь, как обычно, Заславский, Завен благожелательно слушал. С неослабевающим радостным интересом на лице и бесконечным искренним удивлением в своих армянских глазах. И ещё с этим подкукукиванием:

— Да что ты говоришь!? Не может быть! Правда? Это правильно, я об этом никогда бы не подумал, — и т. д.: у него есть много приёмчиков заинтересовать собеседника и при этом отойти от диспута. Да и все эти споры ему порядком надоели.

До поры, до времени, пока неприятие некоего художника или события не выведет его из себя.

Тогда армянский темперамент преодолевает царственное снисхождение, нежелание спорить, благожелательность и терпимость. В голосе, лице, жестах, интонациях закипают страсти предков. Правда, теперь это бывает всё реже и реже.

Когда-то давно я устроил выставку студенческих работ молодых художников у себя в институте и написал о них статейку. Статейка так себе, а вот художники были замечательные. Завен, «Маха» — Ватенин, Коля Кошельков, Ванечка Васильев, Левант, Соханевич, красавец, напоминающий Модильяни, который потом сбегал в Америку, выбросившись ночью, как говорят, в иллюминатор теплохода Батуми — Одесса и доплывший до турецкого берега; по моему, Гера Егошин и др. Время было, как все помнят, непростое. Завен за участие в несанкционированной выставке пострадал и чуть не вылетел из Академии, но никогда ничего мне об этой истории не говорил. Я узнал о ней совсем недавно. Таков Завен. Правда, ходили слухи, что на его курсовой работе, которую я не видел, лица рабочих, слушающих вождя, были столь угрюмы, что никак не вписывались в радостное кипение одержимых строителей будущего. О статье я давно забыл, а вот Завен недавно её достал и мне прочитал. Бывают всё-таки приятные моменты в жизни.

А ещё много лет назад у меня дома собрались вечером отдохнуть и, как говорят сейчас, пообщаться.

Дома шёл ремонт, мебель стояла на кухне и в прихожей, а в комнатах было пусто. Пришёл Дима Брускин, прихватив из бара в «Астории» певшего там романсеро Агафонова. Позже зашли Миша Матвеев и Кот Григорьев из Комиссаржевки. Собирались ещё приехать цыгане из ансамбля после спектакля, но не приехали. Общались долго и настойчиво. До положения риз.

В пять утра я вспомнил, что в семь ждёт партнёр по теннису в зале. Уходить не хотелось, но и партнёра подвести я не мог. Правда, в том состоянии, в каком я находился к этому времени, игра вряд ли могла доставить ему удовольствие.

— Вы здесь ребята продолжайте, а я мигом съезжу и через час вернусь. К тому же партнёр в такую рань может и не приехать.

— Куда ты поедешь в таком состоянии? — спросил внимательный Завен, покачиваясь. — Я поеду с тобой, поиграю, если партнёр не придёт.

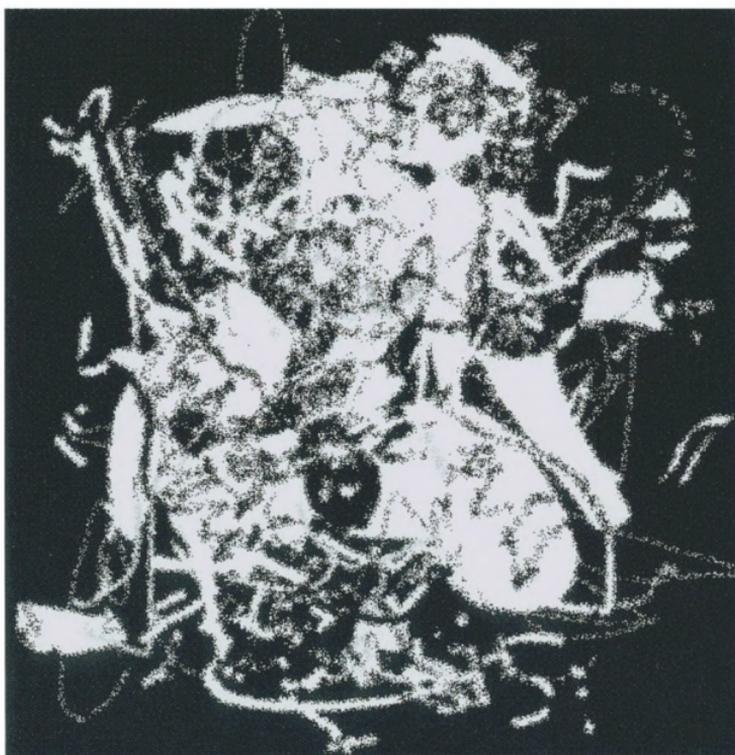
— А ты в теннис играл? — спросил я.

— Никогда! — гордо ответил Завен.

— Тогда поехали, — согласился я, понимая, что Завен сейчас упрям в плане выполнения товарищеского долга, и начал собирать сумку. Мы выскочили на Скобелевский и остановили такси.

— Нам на «Динамо», — сообщил Завен, выдохнув содержимое творческого вечера в форточку водителя. Водитель закрыл окно и умчался. Однако машину мы всё-таки нашли.

На «Динамо» я переоделся и включил свет в зале. Партнёр, как и следовало ожидать, не приехал. Завен закатал штаны до колен, снял пиджак, верхнюю рубашку, туфли, и в чёрных капроновых носках вышел на скользкий покрытый лаком паркетный пол. Я вручил





ему ракетку. Маленький чёрный Завен в закатанных до колен штанах, в чёрных же нейлоновых носках с большой ракеткой. Очень серьёзный. Соответственно долгу. На это стоило посмотреть.

— Ты хоть ракетку в руках держал?..

— Никогда! — повторил честный Завен. — Подавай!

Ну что тут поделаешь — барственное существо, с отягощённой многовековой царской наследственностью, как тут не подать?

Я включил автопилот и, почти не шатаясь, вырубил на площадку. Завен колыхался по ту сторону сетки.

Матч начался. Я подал.

Завен бросился к мячу, поскользнулся, упал, вскочил, махнул ракеткой по воздуху, снова упал, затем упал, уже ожидая следующей подачи. Он упорно бегал за мячом, непрерывно скользя ногами по паркету и падая.

— Угроблю друга, — выплыло за очередной волной алкоголя. Подташнивало. Мысль о том, что я выложу паштет прямо на площадку и тем самым вызову негодование ленинградской федерации большого тенниса, всё-таки беспокоила.

— Может, прекратим? — задал я примиряющий вопрос. — Ты победил. — Но Завен вошел в азарт и продолжал скользить и падать, обдирая колени и локти.

Матч всё-таки пришлось прекратить. Количество ссадин и ушибов стало опасным для жизни.

Мы отправились назад с сознанием успешно выполненного долга. Успели как раз своевременно — к открытию магазина. Компания сидела, продолжая разговоры и песни. Ночь плавно перешла в день. Завен сидел, изредка морщась от боли. Он умел терпеть боль и в других, более серьёзных случаях.

Потом, много лет спустя, когда из-за болезней и травм головы Завен вынужден был долгое время находиться в постели, примеряя на себе все знания и способности воздействия современной лечебной науки с бесконечным приёмом лекарств, гимнастикой, физиотерапией, бесчисленными уколами в вену и в тело, которые он переносил стоически безразлично, не поморщившись. Нужно было лечиться, и он выполнял назначения терпеливо, серьёзно, благожелательно, чтобы не беспокоить близких и медиков. Такие больные редкость. Культура и порода. Гордость и мужество. Правда, иногда срывался, очень редко. Впрочем, это понятно, и всегда было спрятано за Ниной.

Говорил ещё плохо, но речь медленно улучшалась. Лежал уже не по физическим кондициям. Мог бы ходить. Какая-то скрытая боязнь вертикального положения. Возможно, очень долго лежал, и попытки встать вызывали чувство опасности. Быть может, атавизм, скрытая сознанием память о нашем когда-то горизонтальном положении. Говорил медленно, не всегда отчетливо, но понимал всё. Он осунулся, и глаза его смотрели из глубины глазниц всегда серьёзно и внимательно. Чувство юмора не изменило ему. Он улыбался шуткам своей обычной чуть-чуть стеснительной с лёгким знаком вопроса (а стоит ли смеяться вообще?) улыбкой.

По телефону отвечал не сразу, но на шутку реагировал моментально.

— Ты звони ему чаще и приходи, ему веселее, когда вы разговариваете, — приглашает Нина.

Иногда не очень близкие, но знающие Завена благожелательные знакомые спрашивают: «Как там Завен?»

— А что Завен, — отвечаю я, — Завен смеётся...

Нина внесла чай и закуски. Ольга помогала ей и казалась мне такой хорошенькой.

— Я люблю тебя, — шепнул я ей. — И останусь с тобой навсегда. — Работа Ольги была закончена. Всё, что для меня было неприемлемым, — её немотивированная грубость, даже хамство, в котором она сама себе не отдавала отчёт, мужеподобные движения бывшей спортсменки, ужасы интимного общения, — прошло и видоизменилось в единственную возможность существования. Отсутствие её катастрофического, неприемлемого мира рядом, даже короткое время, делало меня угрюмым и раздражительным существом. Только рядом с ней я обретал то самое «своё» место. Мне, как земноводному, представлялась естественной жизнь в болоте.

Я «сидел» на дозе, не сознавая, что возвращение к нормальной жизни невозможно.

К тому времени Ольга устроилась на хорошо оплачиваемую работу. Её горизонты расширились, она стала заводить деловых друзей, а интерес к моим внешне малозаметным друзьям заметно угасал. Это и понятно, любить литературу и искусство трудно. Нужно отдавать им время. А у неё его не было. Она прорывалась. Тем местом, каким могла. Как я сейчас понимаю, Ольга пока держала меня так, на всякий случай, если скачок в следующую, более благополучную жизнь, не получится.

Ожидали приезда её сына.

Мы ночевали у неё в комнате, которая постепенно обставлялась. Квартиру нам я ещё не приобрёл.

Несмотря на все меры предосторожности — клеёнки, дополнительные простыни и подстилки, — диван так пропитывался её выделениями, что подушки и мат-

рац довольно часто приходилось выбрасывать и покупать новые, в связи с чем мы порой спаривались в других местах комнаты, оглашая их стенаниями. Потом, мокренькие, ложились, и она мгновенно засыпала. Спит Ольга беззвучно и крепко, а я как раз не могу уснуть в восторге. Она поворачивается ко мне спиной и плотно прижимается. И опять её большая и мокрая попка, как компресс, прижимается ко мне. Да, все мы, как головастики, вышли из воды и скоро, судя по таянию ледников, туда вернёмся. В наши будущие жизни, где я, собственно говоря, уже и нахожусь.

Может Ольга предтеча? Такое родное слово. Правда, можно и в другом смысле, в Ольгином. Как предменструальный период.

Я осторожно глажу её, она что-то благодарно бормочет сквозь сон. Её заднепроходное отверстие чуть-чуть зияет и крупные геморроидальные орехи с её дыханием, как живые, то появляются снаружи и загибаются, то втягиваются в глубины. Мне это нравится, потому что я уже там, среди головастиков.

При этом замечательно, что перед тем как кишке раскрыться, она чуть-чуть надувается, и с одной стороны жёваным капустным листочком выползает слизистая.

Я нежно и сладострастно, чтобы Ольгу не разбудить, и она не застала бы меня за таким чарующим занятием, поиграл с геморроидальными шариками, но поцеловать не решился из-за грубой, глубокой и очень болезненной трещины кишки с другой стороны. Какой я не наблюдательный, не заметил. Вот если бы ей залечили трещину, то можно было понежится. С другой стороны, если залечить, то никто бы не заметил, в каком, собственно, отверстии он находится. Впрочем, ка-

кое отверстие в принципе у неё — безразлично. Кому безразлично? Мне безразлично, потому что я уже животное.

— Она тоже животное, как и я? Не помню, у животных геморрой бывает или нет? А старинное название геморроя «почечуй». Красиво. Как фамилия, например, Почечуев. Ну и пусть себе плывет. И я поплыву. В мокрой среде. И я — никто иной, как капитан Немо. Сейчас руку положу в промежность, а там мокренько. Господи, как я всё это люблю. А может, она гордится своим геморроем и всем, кому могла, при случае показывала. Вместе с трещиной. А мне не показала, что юридически для меня означает поражение в правах. Я ревную.

— У женщины главное душа, а не геморрой, — услышал я глас.

— А у Вас, дорогой, болел геморрой в остром периоде, в момент тромбоза? — ответил я кому-то. — Тогда и не говорите, что главное.

А утром она, как бы благодарная, вводила дурман: говорила мне, как она меня любит, как не представляет теперь жизнь без меня, и никогда, до самой смерти, ничто не может нас разлучить. (А уж геморрой тем более.) А я не могу ей признаться, что чувствую даже больше, но не решаюсь сказать — боюсь, что она меня бросит, не понимая. Ужас! Ужас!

В конце концов, ну что такое геморрой, или неожиданное испускание газов, или запах, — ничего страшного в этом нет.

Но, согласитесь, всё-таки противно. И плоская жопа тоже. (Далась мне эта её задница.)

Вот она стоит у кровати, повернувшись ко мне и одну половинку рта слегка оскалив.

Как отвратительно! (Кончается лекарство или ввела просроченное?)

Но что же делать, если так и было.

А вот это хорошо? — «Я вошел в неё. Я из неё вышел» — сентиментальная прогулка по половым достопримечательностям? И никаких намёков на нехорошие болезни. Но это не про нас с Ольгой. Ольга никогда не позволит никому из себя «выйти». Выпасть или вылиться — другое дело.

Кстати, в Ольгу нельзя «войти», в неё может только засосать.

И не «принимала» она меня, а втягивала.

И во время этого Ольга обожала «грязные» слова. Абсолютно грязные. Оскорбительные. Это её заводило.

Сказать какие?.. Все и так знают. И им кажутся они литературными, несмотря на ненормативную, анатомическую, гинекологическую и другую «божественную» выразительность.

Её слова становились всё откровеннее и грязнее по мере приближения к...

Как сказать необходимо?

Будем осторожны...

В этот момент у Ольги не было никаких слов — только высокое исступлённое мычание.

И никаких криков: «Я конча-а-а-ю-у-у-у».

Этого не было. Врать не стану.

И что же теперь будем делать, как сказал бы Заславский, если так было, и для меня было завораживающе прекрасно?

Вся эта помойка, и мой помутившийся от близости с этой женщиной рассудок, и жалкие попытки получить удовольствие от этих болезненных фрикций, этих

садомазохистских отношений, и вся эта жизнь, вызывающая недоумение, жалость и даже брезгливость. И с этим тоже ничего не поделаешь.

Моя восхитительная, лишенная ума жизнь.

Наступило утро, и я немного выспался.

Тогда мы оделись и пошли навестить Серёжу Вольфа, который жил неподалёку, во втором доме от угла с набережной канала Грибоедова. Прошли во второй двор, поднялись по грязному, чёрному входу, и зашли в полутёмную, заброшенную общую квартиру, где в двух маленьких, ободранных и плохо убранных комнатах жил один из замечательных петербургских поэтов, о котором писал Довлатов, что это был самый остроумный человек в Петербурге.

Вспомнился эпизод в бане, когда некий критик заявил, что ни он, ни мы, и вообще никто достоверно не знает, что такое мифотворчество и миф. Вольф как раз тогда находился в депрессии и, закутавшись в простыни, молча смотрел в стенку. Неожиданно он произнёс, твёрдо и безапелляционно:

— Я знаю, что такое миф, «МиФ» — это стиральный порошок.

Сергей Вольф неподвижно лежал на спине во второй, непроходной комнате. Половина лица и тела были неподвижны. Говорить он не мог. Только глаза, без всякого намёка на жалобы, внимательно и строго наблюдали за нами, чтобы выразить согласие, несогласие, но только не просьбу. За ним ухаживала его приятельница, маленькая и хрупкая женщина, которая уже выбивалась из сил. За последующие дни нам больше никого не удалось заметить. Сергей был трудный человек и за свою жизнь сумел отторгнуть от себя не только друзей, но и родственников.

Ну и что? А Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Лев Николаевич Толстой были в быту приятными людьми? Они радовали окружающих? Не раздражали? Не вызывали неприязнь? А теперь мы в удивлении: как это люди тогда не смогли понять, оценить, простить?

Ольга, не обращая внимания на свой больной позвоночник, помогла повернуть Серёжу на здоровый бок, чтобы осмотреть. Он был крупный мужчина и очень тяжёл, одному человеку с ним не справиться. На его спине и в области крестца виделись большие плоские раны с гноем и черными омертвевшими тканями. Мы принялись их промывать, очищать и накладывать чистые повязки. Потом выдернули из-под него грязные простыни и клеёнки с остатками испражнений, обмыли его, застелили чистое и положили Вольфа назад.

Ольга достала у себя на работе большой надувной матрас, и мы с ней подложили его под Вольфа. После этой работы у Ольги на лице выступили капельки пота, и она двумя руками держалась за больную поясницу. Я очень ею гордился. Безусловно, за исключением нездорового интереса ко мне и связанных с ним планов, в ней было много человеческого, вне зависимости, раздваивается моё мироощущение или не раздваивается.

Приходил Заславский с некоторыми художниками из банной компании, приносили что могли. Под конец появились два племянника. Наших усилий было явно недостаточно, чтобы помочь Сергею. Требовалась дорогая медицинская помощь. Требовались деньги. Мы, рассчитывая на помощь Пен-клуба, позвонили Битову. Битова в городе не оказалось, Пен-клуб беден, и жена Битова прислала триста долларов, как я думаю, всё, что у неё имелось, учитывая ряд обстоятельств. Этих денег могло хватить на два дня. Власть имущие поэтом Воль-

фом не интересовались. А могли помочь, поместив в клинику, где сами бесплатно лечатся, несмотря на свои огромные и постоянно растущие состояния и обеспечив ему, как себе, хороший уход.

А ведь они тоже могут сдохнуть. И это обнадеживает.

А так ничего нового — кому нужен поэт при жизни, да ещё с трудным характером. Нужны послушные.

Умирал Вольф мучительно. Также не новость, когда нищий.

Под конец его подруга совершенно выбилась из сил. Меня не было на похоронах. Рассказывают, что собрались люди, и говорили замечательные слова, и сожалели.

— А где же вы были, когда он так мучительно, одиноко и беспомощно умирал? — Впрочем, это так тривиально, что даже противно.

Где были властители города, в частности губернаторша? Умер большой петербургский поэт, мать ты наша родная. Это даже не ты, дорогая, вместе со своими родственниками.

Губернатору было не до поэтов. Она училась живописи у Дмитрия Шагина-сына большого художника. Говорят, что природа отдыхает на детях. А тут она вообще впала в спячку. Губернатор творила в окружении деревьев и охранников, которых было много больше, чем деревьев. Говорят, что охраны на холсте не было. Видимо, мастерство г-жи губернатора ещё не поднялось до такого уровня, чтобы изображать святое. Про деревья врать не буду. Может, они и были.

О чём я?

Я о том, что никогда Дмитрий Шагин не будет Сергеем Вольфом. Ни в коем случае».

В это утро пожилой Робинзон почувствовал себя лучше, хотя движения онемевшей правой рукой по-прежнему были неуверенными. Поэтому тарелки и чашки к завтраку он носил, прижимая их левой рукой к телу. Они тем не менее падали на пол и разбивались. Ел он также левой рукой и даже пытался писать. Ему удалось сварить себе кофе и налить в чашку. Это был большой праздник. Он взбодрился, захотелось есть, и он удручённо посмотрел на пустое ведро. Из-за сарая вышла Рика, облизала миску и посмотрела на старика.

«Придется идти на родник. Я бы не пошел, но тебя, собака, кормить нужно».

До родника было не более сорока метров, однако дорога туда и обратно раньше занимала целый день.

Сначала нужно было взять ведро в здоровую руку, а палку, на которую он опирался, придерживать опущенной больной рукой. Таким образом, с палкой и ведром, он направлялся по тропинке к ручью, делал несколько шагов и останавливался. Не сгибаясь в пояснице, а только в коленях ставил пустое ведро на землю кверху дном, затем садился на него или ложился рядом и отдыхал. Отдохнув, ковылял дальше и снова останавливался на более длительное время. Эту мизансцену он повторял несколько раз. До родника он добирался, испытывая боль во всём теле и слабость. Иногда не добирался, а оставлял ведро и возвращался назад, чтобы попытаться принести воду на следующий день. Он надолго присаживался на тёплый покрытый мхом камень и ожидал, когда стихнет боль. Наклониться и зачерпнуть воды ведром часто не мог, и тогда он ложился на траву и опускал ведро в воду. Так же, лёжа, он здоровой рукой выволакивал ведро на берег, что было неудобно и трудно, после чего укладывался на траву у

родника, чувствуя слабость и одышку. Отдохнув, старик вставал и пытался поднять ведро здоровой рукой, но резкая боль в пояснице всегда не позволяла ему это сделать, и он оставлял попытки.

Он бросал палку и пытался тянуть ведро волоком по земле, однако через несколько шагов, чувствуя боль в спине, ложился и засыпал. Иногда даже на короткое время терял сознание...

Сейчас очнулся он от того, что Рика стала, повизгивая, будить его. Идти с ведром дальше он не мог, не мог разогнуться и пополз на четвереньках, наклонив и катя ведро на круглом дне, и расплёскивая воду.

И если раньше он отчаивался — «Зачем мне такая жизнь? Зачем я делаю все эти бессмысленные и бесполезные движения? Ведь конец-то предрешен», — то сейчас, когда забрезжила возможность понять, мучительное продвижение к роднику и обратно приобрело цель. Он дополз до сарая — воды в ведре ещё было достаточно, чтобы налить в чайник и в небольшую кастрюлю. Бросив в рот таблетку от боли, он откинулся на диване, вытянув и выгнув спину, открыл папку и перевернул прочитанный лист...

«Приехало, наконец, долгожданное дитё.

Когда я вошел в комнату, на полу перед телевизором лежал крупный, рыхлый, раздетый до неряшливо висящих даже на его толстых ляжках трикотажных трусов, чувак и, посматривая в телевизор и жуя, собирал на полу «Лего».

— Встань и поздоровайся, — напомнила дитю мама.

Он встал, подошел ко мне и, глядя в сторону, протянул рыхлую ручку, ладошкой вниз.

— Для поцелуя, что ли? — изумился я.

Выглядел он лет на одиннадцать-двенадцать, хотя ему не было и десяти. Крупная голова с белыми бесцветными бровями, блондинистый, почти альбинос, толстое, с румяными щёчками, лицо с влажным, алым ротиком-хоботком, создающим впечатление, что он непрерывно что-то сосёт.

Поздоровавшись, он тут же рухнул на пол, но уже «Лего» не собирал, а непрерывно следил за мной и мамой, постоянно вмешиваясь в разговор. Потом этого ему оказалось недостаточно, и он начал шастать по комнате, громко пукая и нисколько при этом не смущаясь. Я пожал плечами и хотел сказать доброжелательно, что, мол, неудобно портить воздух, но потом решил, что, может быть, они общаются так между собой, у них такой тайный разговор, такой язык, и, хотя это выглядело полной ерундой, попытался сам немного попукать, чтобы выглядеть своим, но у меня ничего не получилось. Может, получится потом? Таким образом, наше общение было затруднено с самого начала. Придётся мне научиться, а иначе как завоевать его любовь. Без понимания.

Далее, прерывая наш разговор бесцеремонно и не спрашивая, он таскал и показывал какие-то пушечки, башенки, уродливые танки из «Лего», страшно ими гордясь, демонстрируя детсадовский уровень развития и полное отсутствие фантазии. Ни на какие замечания мамы или мои он никак не реагировал, правда, угрюмо их выслушивал.

Труслив и осторожен был чрезвычайно. До чашки с чаем сначала дотрагивался пальчиком, тут же его отдёргивая. Когда мы ездили на пляж, он, как двухгодовалый ребёнок, ложился в воду у самого берега и плес-

кался, и заманить его подальше, хотя бы по пояс в воду, чтобы научить плавать, было невозможно.

В классе он боялся детей на голову ниже его и вдвое легче. Зато своё тщеславие и тягу к власти он реализовал дома непрерывным нытьём, капризами, слезами и провокациями болезней. Мама, а также бабушка и дедушка уже много лет жили во взаимной неприязни, перетягивали любовь ребёнка на себя, как одеяло, и растущий деспот пользовался этой любовью постоянно.

За столом дитя сидело набычившись и внимательно следя за тарелками, чтобы самый большой кусок был непременно у него. Он так привык.

К тому же он был необычайно ленив, хотя и способен, примерно лет до четырнадцати валялся на диване или на полу, смотря одни и те же мультики для пятилеток и бесконечно ковырялся в «Лего».

В школе успевал из-за страха перед наказанием. Когда я подшучивал над его недостатками, он молчал, смотря в сторону своими большими, бесцветными глазами альбиноса, иногда улыбался, как бы оценив шутку над собой, но упёрто и скрывая злобу продолжал делать только то, что ему было удобно.

Было ясно, что любить этот ребёнок никого, кроме себя, не будет, но, получив очередную инъекцию от любимой, я пытался полюбить и его и, если не сделать из него другого человека, — что невозможно, и это я понимал даже своим замутнённым разумом, — то хотя бы научить его жить среди людей и добиваться своих жизненных целей другими, более достойными будущего мужчины методами, чем капризы.

Мы пытались заниматься спортом. На теннисном корте он десять минут потолкался у стенки и, не попа-

дая ракеткой по мячу, заявил, что он страшно устал и играть в теннис ему не интересно. Потом был футбол, ролики, коньки, тренировочный зал, и всё это немедленно заканчивалось после каждого ушиба, падения или толчка со стороны играющих с ним ребят.

— Ты же мужчина, в спорте нужно уметь терпеть боль и преодолевать страх. У тебя получится, — уговаривал я его. Бесплезно. Тут же появлялись сочувствующие — бабушка, дедушка и мама.

— Мы пойдем заниматься в бассейн, — пошла как-то Ольга на компромисс. В бассейне он пробыл тоже недолго.

При первой же простуде его оттуда забрали навсегда. Со спортом было покончено.

Потом я водил его в музеи, в театры, просил друзей поучить его рисовать, рекомендовал почитать интересные книжки, делать что-нибудь интересное руками. Моделировать. Спрашивал:

— Ну, что ты хочешь делать, что тебе интересно? — Ничего он делать не хотел и ничто не было ему интересно более чем на пять минут. Нарастала только неприязнь ко мне и скрытая ревнивая ненависть, если мама пыталась мне помочь.

— Да, много нужно выламывать из тебя, — думал я, — чтобы в последствии под тонкой верхней губой не выросли два кабаньих клыка, которые начнут рвать мясо и душу окружающих.

— Будет как мама. Только хуже.

Но он не мама. Он невиновен. Кто знает, какое горе, какое глубоко спрятанное обидное недоумение, ущербность и злобу прятал он в своей душе. И мог ли он не испытывать глубоко скрытое неприятие мужчин? Тем более мужчины, с которым встречается мать. Где эта

каверна? Велика ли пропасть в глубины? Надёжно ли скрыта? Он про неё не знает. Пока.

И свою скрытую ущербность он может пронести через всю жизнь. Можно ли его избавить от этого? Вряд ли. Но можно научить его с этим жить. Показать мужской мир — мир борьбы, научить преодолевать или, по крайней мере, не показывать другим свои страхи, объяснить, что он тоже мужчина. Здесь подарками, сюсюканьем и восторгами по поводу всякой ерунды, им сделанной, не поможешь. Строгость, терпение и время. И поддержка матери, которой не было.

Я вторгнулся в его тёплый, удобный мир, где он был властелином. И он мне отомстил. Он был коварен. Коварен и злопамятен.

Однажды она уехала в командировку в Екатеринбург. Так она мне сказала. Через несколько дней я позвонил и спросил у ребёнка:

— Как там мама, в Екатеринбурге?

— Она не в Екатеринбурге, она улетела в Афины, отдыхать, — ответил он.

— Ты ошибаешься, мама улетела в Екатеринбург.

— Она улетела в Афины, — злорадно ответил он.

Он был достаточно большой мальчик, чтобы понимать, что и зачем говорит.

— Чтобы сделать мне больно, пукалка, чтобы нас с мамой поссорить. Ладно, дружок, ты мне понятен. Это мой путь, моя беда. Я дал слово и буду с твоей больной, несчастной мамой до конца. Буду тебя кормить, одевать и не буду тебя учить и воспитывать, чтобы не осложнять отношений. Расти грызуном, белый мышонок. Будешь сидеть всю жизнь в своей норке и дрожать. Я бы хотел тобой заняться, но я грызунов не развожу.

Через несколько дней Ольга мне позвонила и сказала, что прилетает завтра.

— Как в Екатеринбурге?

— Нормально.

На следующий день я приехал в аэропорт, встретить её. Её не было. Я позвонил ей домой, она сняла трубку.

— Ольга, я встретил твой рейс, а тебя нет.

— Я прилетела через Москву, билета на прямой рейс я не достала.

— Зачем это ей? — подумал я. — Какая мне разница, в Афины она летала или в Екатеринбург? Зачем? — Незначительная ложь породила большое недоверие. Лучше бы я себя заполнил ее отравой по макушку. Я ей не верю!»

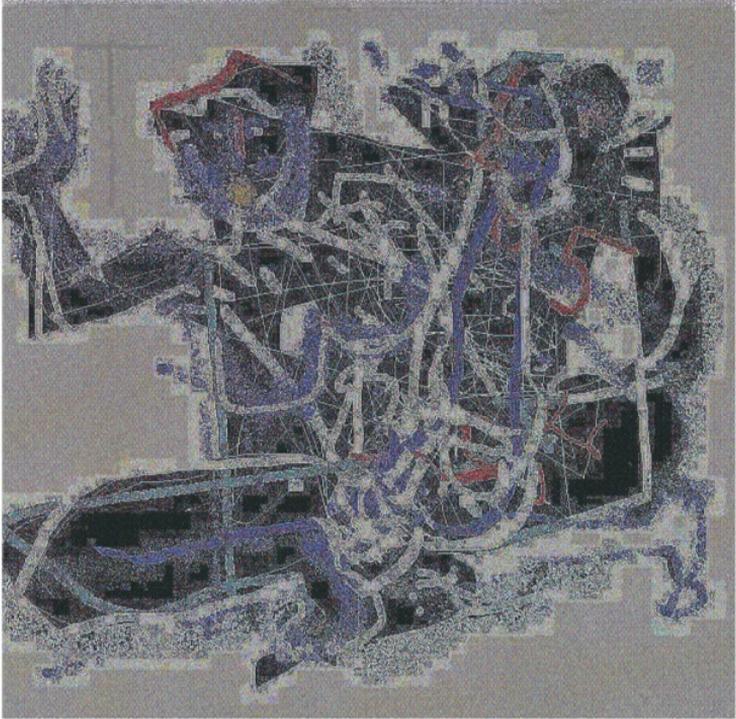
«Не верит. Теперь восторги заканчиваются. Теперь он будет подозревать и следить. И, скорее всего, измениться уже не сможет», — подумал старик и взял следующий лист...

«Ещё в первые дни знакомства я отправился с Ольгой в гости к Ирине, моей подруге.

Она моя давняя подруга, и с ней приятно поболтать. Изящная и даже хрупкая на вид. Но это заблуждение. Есть характер и пронизательность. Женщин оценивает с полувзгляда. Иногда бывает противной занудой.

Сейчас начало первого. Обычно к этому времени она заканчивает свою долгую разминку, готовит мне кофе и садится напротив:

— Может, ты что-нибудь поешь? — спрашивает она очень противным голосом со слезой. Это потому, что Давидик, её муж, в отъезде. А это всегда катастрофа.





Ирина угощала нас с Ольгой кофе с какой-то своей выпечкой и изредка поглядывала на мою новую знакомую. Я подшучивал над Ольгой, отчего у неё на глазах иногда выступали слёзы.

— Ты свои шуточки брось, их не все понимают, — строго заступилась за Ольгу Ирина.

Ирина всю жизнь любит одного человека и, что для меня совершенно необъяснимо, с годами её любовь не становится глуше.

«Давидик» — балетмейстер. Ездит по разным театрам, ставит балеты. Вы спросите, почему по разным? — Это просто: незауряден, упрям, принципиален, независим, неуступчив. Ироничен, а это уже совсем никуда. Что называется «плохой характер». Работает на износ и других заставляет. А кому это понравится? Не всем. Вот и возникают коллизии. Театр — коллектив сложный, многоцветный, а у Давидика во взаимоотношениях только два тона — белый и чёрный. И никаких оттенков. Либо так, либо никак. Поэтому на самом деле имеется только один тон — его. Второй отсутствует. Скорее всего, тиран. Добрый восточный деспот.

Когда он уезжает на несколько дней, у Иришки портится настроение, она становится сварлива, и постоянно льёт горькие слёзы. Тут уж утешителем выступаю я. Безуспешно. Горе её не знает границ. И так уже не один десяток лет.

Когда Давидик бывает дома, он ни минуты не сидит на месте. По крайней мере, я не видел. Убегает, прибегает. Отдаёт на ходу какие-то приказания и тут же исчезает.

Книжек моих он не читал, а если и читал, они вряд ли ему понравились — танцевать в них абсолютно нече-

го. А он одержимый. Сосредоточенный. Мир у него, как и тон, — только один. Балет.

Ире мои книжки нравятся.

— Ты талантливый, — говорит она.

— Ирка, не преувеличивай.

— Я честно.

Изредка из дверей других комнат появляются две девчонки, одна — чернявая, в папу, другая — более светлая, в маму. Не заметил, как они стали девицами. Обе танцуют, а «папина» даже поёт. Профессионально. Ну, понятно, бесконечная суета с горлом, школой, педагогами и т. д.

Выбегая и видя меня в страданиях, они непрерывно дразнятся. Иногда я отвечаю, после чего они на меня дуются некоторое время. Не замечают, молча шмыгают в ванну, но под строгим взглядом Ирины сквозь зубы здороваются.

Я не знаю, как они, но я их люблю.

Итак, мы сидим, пьём кофе. Ольга сама приветливость, скромность, немного несчастна, влюблена. Играет скрываемую робость. Но Ирка поляну сечёт. И потом она не на принудительной терапии сострадания, как я.

Мы с Ириной вышли на кухню, как бы по делу.

— Дорогой, у тебя изменился вкус? Ты в маразме? Кто эта трогательная лошадь? — Я возмутился: — «Ирка, ты не знаешь, она такая преданная. И потом она такая неустроенная. Так любит живопись, а это для меня важно. Говорит, что я открыл ей целый мир. Тут ты права, я думаю, она врет. Мир не форточка. Но это ложь во спасение. И ещё она такая больная и так любит меня. — Зачесалось место укола под лопаткой.

— Она приехала сюда из другого города и не полюбить тебя с твоими возможностями довольно глупо, —

осторожно заметила Ира. — А потом... Ирина на минутку задумалась:

— Больная лошадь. Это сильный ход. Когда болеет мышка — печально, но когда лошадь — невыносимо. Знаешь, у тебя все деньги уйдут ей на материю для платьев и лекарства. Дорогой мой, это не она — это ты болен.

Я расстроился. Ирине я доверял. Но когда мы вернулись в гостиную, Ольга бросила на нас мимолётный взгляд и тут же ввела мне дозу... Я «поплыл».

Через несколько месяцев в кабаре, где работала Ирина хореографом, мы отмечали день рождения Ольги. Она сидела за столом с надменно поднятой головой, в хорошем итальянском платье, с дорогим макияжем и причёской. После того как шоу закончилось, Ирина подошла к нам и поздоровалась. Присесть за стол отказалась. Я проводил её до выхода.

— Не узнать твою плакучую иву, — коротко сказала Ирина и ушла.

Когда Ольга приехала из липового Екатеринбурга, она в телефонном разговоре со мной тут же почувствовала неладное и, перезвонив ещё раз, сообщила, как она соскучилась, как она меня хочет и ждёт немедленно прямо сейчас. Я забил копытами и поскакал. Куда поскакал? Жрать дерьмо. Это мне было ясно. «А еще я страдаю копрофагией. А это уже шизофрения», — отметил я на скаку.

Когда я, весь в пене, упал в комнату, — голая Ольга топала по паркету, нагибаясь вперёд, чтобы не болел позвоночник с грыжами Шморля.

Потом она оперлась на стол и наклонилась. Ольга была уже без трусов.

Позе был свойственен оптимизм, несмотря на прогнутую спину.

— Конёк-Горбунок! — возликовал я. Сейчас начнется смена вод.

И мы поскакали. В моё небытие. Но тут она резко затормозила, и я вывалился в трезвое понимание, потому что произошло нечто удивительное. В возмещение Екатеринбурга Ольга затеяла со мной эротические игры.

— А не поцелуешь ли ты меня в клитор? — ласково спросила она. (Ну, отчего же не поцеловать? Поцелую, если не стошнит.)

— С удовольствием! — горячо и с энтузиазмом ответил я, и лег на спину, предвкушая огромные наслаждения, которые стояли как раз рядом с кроватью. Она стала на четвереньки и крыша у меня опять «съехала».

Низко свисающие груди были недалеко и, дергая руками за соски и одновременно держа губами клитор, я себя представил играющим на трех маленьких колоколах в звоннице собора. Что и говорить — божественная музыка. Может быть, даже вечная? К тому идет.

А Ольга со стонами стала царапать и прикусывать мой член зубами. И я то ли от боли потерял сознание, то ли уснул, но вдруг неожиданно увидел, как она вставляет мне в член резиновую трубку. Зачем?

Сначала Ольга достала разные трубки: резиновые, хлорвиниловые, старые, потерявшие эластичность, ввести которые ей не удалось. Положение казалось безвыходным, как вдруг неизвестно откуда появляется стерилизатор с несколькими плотными резиновыми катетерами. Ольга берет один из них пинцетом, и ловко вводит мне в канал.

Тут я очнулся и долго лежал с открытыми глазами, пытаюсь понять. Но понял одно: сон явно мазохистского характера.

На следующий день была выставка Румянцева в Манеже. После отъезда в Германию — его первая персональная выставка в России. Выставка получилась. Саша трогательный в бесконечном удивлении, что всё так хорошо, метался от работы к работе с глазами, полными тревоги. Ощущение беспокойства автора просматривалось отчетливо, как обычно и бывает на хороших удавшихся выставках. У многих, а у Румянцева особенно, есть свойство погружаться в окружающую их действительность так, что они полностью теряют ориентировку во времени и пространстве. Однажды Румянцев, будучи убеждён, что он улетает восемнадцатого числа в Германию и накануне заглянув в билет, к своему удивлению — а удивляться подобному он не устаёт всю жизнь — обнаружил, что улетает как раз семнадцатого. Мало того, в этот день у него закончилась виза.

— Вы пытались нелегально пересечь государственную границу, — сообщили ему в паспортном контроле.

— То есть как это? — спросил Саша, и глаза его приобрели в этот момент совершенно ненужную остроту и неприязненность взгляда.

— Откуда и куда я нарушил границу? Я вылетаю из России, гражданином которой я являюсь, в Германию, гражданином которой я также являюсь. Так в какую же, собственно говоря, чужую страну я пересекаю границу? У меня просрочена виза? Так и скажите, а не шлите мне шпионаж, да еще с таким видом, будто медленно поставите меня к стенке.

Тут его «под белы ручки» вывели из аэропорта. Саша не успокоился... Ему немедленно нужно лететь в Гамбург. Он был интеллигентный человек, и вопрос: «А хули ж я?» — беспокоил его по определению. Поэтому он немедленно вернулся в аэропорт к будке таможенного контроля:

— У меня всего один день просрочен! Мне вообще непонятно, зачем каждый раз ставить визы из одной страны в другую, когда при этом я являюсь гражданином обеих. Я просто забыл паспорт, понимаете? Не посмотрел.

— Не понимаю, как можно не смотреть в паспорт или забывать, — с непроницаемым видом ответил пограничник и тут же припаял ему умышленность и злонамеренность, после чего последовало:

— Либо штраф — либо арест.

Посмотрев на Сашу внимательно, власти выбрали арест. Так герр Румянцев оказался в кутузке. Светило до двух лет. Спас положение какой-то знакомый магнат.

В результате он ещё месяц находился на родине то ли в виде «бомжа», то ли в виде шпиона иностранного государства. Весь месяц он сидел дома, боясь встречи с милицией или каких-нибудь других нежелательных контактов. А дело в том, что не нужно так основательно забывать Родину, её милые шалости и трогательную заботу. После этой истории Саша стал более осторожно относиться к святой неприкосновенности российских границ.

А в это время в Германии у него наступило время очередной переподготовки по немецкому языку, и он нашел подходящие курсы, по средам один раз в неделю, почему и страшно горевал, что он на них опоздает.

— Это очень важно, — сообщал всем знакомым Саша, потому что курсы обязательные и бывают раз в два года, а первый раз я уже на них не ходил.

После его отлёта я позвонил ему в первую среду и, к своему удивлению, обнаружил его дома.

— Почему ты не на курсах? — спросил я.

— А курсы у меня во вторник, — бодро ответил Саша и добавил: — курсы хорошие и там есть один чувак — китаец, который знает немецкий ещё хуже, чем я. — Меня это удивило. Саша уже пытался говорить по-немецки всуе, здесь, в Петербурге.

— А сколько времени этот чувак в Германии? — поинтересовался я.

— Неделю — ответил Саша.

Вообще ту месячную задержку Саша очень переживал. А мог бы не переживать. Мог бы присесть у телевизора и посмотреть, как два наивных американца, решившие объехать земной шар на велосипедах, на половине пути приблизились к незыблемой границе Российской Федерации.

Кажется, там, на побережье Чукотки, у пограничного столба, они сидят до сих пор. А потому, что в Беринговом проливе, который они пытались переплыть на тех же велосипедах, они утопили рюкзак с документами и, чтобы их восстановить, должны были обратиться в посольство или вернуться назад, в Америку, от рубежей. Вернуться же, а тем более обратиться они не могли, потому что пытались нелегально пересечь государственную границу, за что и были посажены прямо у нейтральной полосы, которую они не узнали. А не узнали они ее потому, что никогда до этого нейтральной полосы не видели, а чтобы выйти из кутузки, им необходимо было предъявить документы, то есть обратить-

ся в посольство или вернуться в Соединенные Штаты. Сделать они этого не могли, потому что находились в кутузке. К тому же им были запрещены свидания неизвестно с кем. Потому что с просьбами о свидании никто не обращался. В округности примерно так полутора тысяч километров. И так далее, до бесконечности. То есть наши дети, если вдруг, ввиду на редкость неблагоприятных условий, попадут на действительную службу и именно на этот пограничный пост, будут иметь возможность увидеться с этими замечательными американцами.

После выставки мы отправились в кафе, и на этот раз Саша не перепутал время и место. Да и немудрено — кафе находилось через дом от Манежа на той же стороне. И тут произошло событие, которым мне запомнился этот вечер.

Когда все уже немного выпили, в ресторан вошла, нет не вошла — явилась, невиданная попка. Ольги со мной не было, и поэтому никаких галлюцинаций. Это была не материя — это было трепетание. Задница двигалась сама по себе, глубинными архаическими волнениями, непрерывно колыхаясь. В колыханиях было что-то от архетипа, столь любимого Борхесом. Дело не только в обширности, томящей плотности, эротической насыщенности движений, а именно в независящих от её хозяйки и, скорее всего, хозяйкой не замечаемых, таинственных, полных магнетического напряжения, зовущих колебаниях. Женщина прошла и села рядом со мной на свободное место. Тут же мужская часть собрания предприняла героические усилия этого зада не замечать, и только наивный Боря Зинкевич, который к этому времени уже достаточно выпил, смотрел на неё восторженным взглядом не отрываясь, и какой-то ост-

роумник напевал: «Как у нас в задочке, как у нас в задочке...».

Женщина была довольно мила, тщеславна, пела хорошо поставленным голосом так громко, что стёкла в кафе дрожали, и непрерывно говорила обо всех искусствах сразу.

— Зачем вам это, — удивлённо спросил я, — вы наделены таким божественным даром. Вам всё это не нужно. Вам нужно только быть.

— Где быть? — спросила она.

— Рядом.

Она придвинулась.

— Да нет, не обязательно со мной рядом. Вообще, в непосредственной близости, в переносном смысле, во вселенском, понимаете? — Но она продолжала об искусстве.

Мы с Борей Зинкевичем рискнули её проводить. Шли чуть-чуть сзади, любуясь её колыханиями и разговаривая о бесконечном разнообразии проявлений жизни.

Ещё пару дней я о ней помнил, а потом погрузился в нирвану, ожидая встречи с любимой, причём без всяких подколов с её стороны.

К этому времени Ольга получила повышение в зарплате, достигла в заработках среднего класса и приблизилась к начальству, которое существовало в квартирах с евроремонтом, ездило в дорогих иномарках и непременно строило себе виллу в пригородах. Она втиралась к своим хозяевам, безропотно переносила хамство, старалась быть необходимой и услужливой. Готовился прыжок на следующую ступень благополучия. Я со своим уровнем её уже не устраивал. Ей хотелось быть «бизнес-леди». Она купила в кредит иномарку,

стала одеваться дороже и полностью перестала притворяться в любви к моим друзьям, искусству и моим странностям, не дающим таких денег, какие ей нужны, интересам.

Взамен приобрела подружку — страшненькую, подержанную, неустроенную и тщеславную сучку по имени, если не ошибаюсь, Лена. Единственной целью жизни Лены было найти кормящего мужика. Но со своей убогой внешностью найти таковых в России она никак не могла, и её вожделение устремилось на Запад, где мужчины, измученные своими науськанными на деньги самками, не так разборчивы.

Моя «бизнес-леди» полностью приняла идею добыть себе будущее половым путём, потеряв, благодаря мне, ориентировку в своей внешности и генитальных несурзацах. Не понимая, что, в отличие от меня, находящегося на лечении, нормальные мужчины видят только то, что перед ними. И это, естественно, их не впечатляло. Тем не менее Ольга вышла на охоту.

Охота, по всей видимости, не была успешной, и Ольга, несмотря на твёрдое решение двигаться вперёд по пути «бизнес-леди» и при полном отсутствии, кроме меня, кандидатов на интимную близость, продолжала половые отношения со мной, но уже с меньшей интенсивностью и напором. Ей мешала надежда. Надежда, как нам известно, умирает последней.

Встречаться мы стали реже, иногда даже раз в неделю. Как говаривал, глядя на проходящих дам, один гениальный философ с Невского «центральной» Сёма Качко: «Дело не в том, что мы не берём. Дело в том, что нам не дают».

Приезжали какие-то её старые подружки из других городов. Приезжали они для встреч с мужчинами и

оставались ночевать у Ольги. Я на эти дни должен был уходить.

«Как же она собирается строить совместную жизнь? Как она себе её представляет?» — всё ещё надеялся я, став окончательным придурком. Вот к чему приводит неконтролируемое использование недоказательных медицинских приёмов и лекарств. Она никакой совместной жизни уже давно строить не собиралась. Я находился полностью под её влиянием, и моя душа представляла территорию, на которой синим пламенем горела уверенность в бесконечной её любви и преданности до гроба.

Я и не подозревал, как близко находится гроб.

В этот раз подруга приехала из Новгорода, а меня тут же отправили в изгнание, в Ораниенбаум, где в отремонтированном художниками доме генерала Анжу проходил очередной семинар и мастер-класс.

Тут уместно изменить ритм и продолжить повествование, поставив акцент на чём-то безразличном типа...

«Светало... зудело...»

Жужжали комары, мухи и даже сплетни в знойном воздухе Ораниенбаума. Заславский лежал на чердаке дома Анжу, глядя на только что закрашенный холст. Рядом с ним или уже непосредственно на нём, сейчас это неважно, лежала Ирочка. Видимо в мастер-классе был перерыв.

Неосторожный, в отличие от Зинштейна, Гостинцев залез на чердак и грубо спросил:

— Кто взял мою палитру?

Заславский заметался с целью скрыть свою, приобретённую после поездки в Америку, незаурядность. Голая же Ирочка на вторжение Гостинцева никакого

внимания не обратила, поскольку тело её, особенно бёдра, были, по её мнению, безупречными и ничего скрывать, а тем более ездить в Америку, не требовалось.

— Никто тут вашей палитры не трогал, — заявила Ирочка, не меняя позы.

Гостинцев остолбенел и рухнул вниз.

Во дворе грустно собирались к обеду скульпторы и художники — участники мастер-класса. С тех пор как употребление спиртного во время семинара в доме Анжу было запрещено, энтузиазм творцов поддерживался только редкими набегами в город.

— Потому что трудно себе представить, что нам заменит Фонарные бани, сгоревшие в одночасье четыре месяца назад, — говорил спустившийся с чердака Заславский Лотошу.

Есть мне не хотелось. Я присел во дворике. На время болезнь меня отпустила, и я опять с маниакальной настойчивостью, решил представить себе мою ситуацию реально.

— То, что ты можешь ей предложить, — этого достаточно?

Этого достаточно. Но, возможно, она считает, что заслуживает большего? Возможно, её столь необходимая мне «духовность» вообще не интересует? А я могу считать себя эстетом в этой половой мерзости? Свойственно ли животным чувство прекрасного? У меня есть опыт — могу поделиться.

А Оленьке необходимо сытно, тепло, комфортно. И всё это в евроремонте. И чтобы её непрерывно сосущее дитё непрерывно сосало.

А что, этого мало?

Этого не мало, но недостаточно. А где же «я тебя люблю и буду с тобой навсегда?»

Тут я снова провалился. И опять началось. Ольга — единственная, неповторимая и желанная. Только вот ночью в постели появился едва заметный посторонний оттенок, лёгкое дуновение холодка. Днём — раздражительность, недовольство, непрерывные «я так устала, у меня сейчас так много работы».

Иногда, когда я пытался её приласкать, — она отстранялась: «ты же знаешь, я холодная».

Это правда. Только не холодная, а безразличная и потому склонная к мазохизму. Я разозлился. Целовать её соски было недостаточно — нужно было кусать, а также царапать и щипать, особенно спину.

Вот я и сижу на её громадной плоской заднице, ногтями до крови царапаю ей позвоночник, а она радостно постанывает. Такая любовь.

Она возможна у психически здорового человека?

Всё чаще слышу ее замечания: «Одел не те тапочки. Не на тот стул сел. Что молчишь, включи телевизор!»

Когда я недостаточно погружен в болезнь, я думаю: «А не пора ли послать тебя, дорогая, вместе со всем твоим разнообразием?» Но по её расчетам время меня выкинуть не наступило. И поэтому следовало:

— Не сердись, я так устала. — И даже глаза увлажнились... (Вот, а на «Ленфильме» постоянная нехватка хороших актрис.)

В интимной жизни появилась неожиданная сдержанность, отчужденность. Количество выделений катастрофически уменьшалось и почти достигло уровня обычной женщины. То ли выздоровела, то ли дозу гормона перепутала, то ли — об этом я даже думать боялся — разлюбила. Для нормальной женщины количество влаги достаточное, а для неё — полупустыня, даже пустыня.

Семнадцать тысяч километров.

Сначала солончаки полупустыни Кызыл-Кум, с высохшими солёными водоёмами с белой корочкой соли по краям. К юго-востоку от далеко отступившего от берегов пересыхающего Арала. Зной. Длинная очередь на паром через мутную Амударью с диковинными крупными зубастыми рыбами.

Далее. После узких серпантинов и обледенелых перевалов Памира и Тянь-Шаня, после Иссык-Куля с непрерывно клюющим на удочку, как бычки на Азове, чебачком, знойный Кара-Кум с предупреждениями на щитах вдоль дороги: «Движение транспорта на этом участке после двенадцати часов не рекомендуется», нестерпимо горячий, почти жидкий асфальт, разорванный в клочья от перегрева баллон «единички».

Остановка в пустыне. Появившийся на бархане и тут же исчезнувший крупный варан, керосиночка, вскрытые консервные банки, красная головка финского сыра, почему-то не расплавившегося от жары.

Мгновенно упавшая на тебя ночь.

Я лежу навзничь на песке и чёрное безмерное пространство ночи с неестественно крупными звёздами, которые рядом, рукой подать, поглощают меня, как чёрное и горячее, неодолимо влекущее, непостижимое, роковое пространство её лона, спиралью проваливающаяся в бесконечность.

— Ольга, хочешь сохранить взаимоотношения?

Любовь вообще переживает периоды охлаждения, отторжения, даже взаимной ненависти, способна к разрушению и саморазрушению. Не нужно зацикливаться на недостатках и мелких обидах, их желательно быстро прощать, и помнить всё время нужно о достоинствах. Иначе конец. Настоящая любовь ещё и строится.

Любовь — открытие археолога, редкая археологическая находка, артефакт из забытого прошлого человечества.

Её, мне кажется, как Трою, — откапывают один раз в жизни. Сначала откапывают, а потом узнают. Но ещё раньше чувствуют: «она здесь» — и копают. Освобождают её от грязи, от разных наслоений, сомнений, нужды, болезней, трудностей быта, друзей, подруг, собственных увлечений и красивых обманок.

И вот ты откапашь свою Трою и увидишь, что она не так сохранна, и многое в ней нехорошо. Но это твоя находка, твоя Троя, и другой тебе не дано. С её недостатками, утратами, болезнями тела и трудностями характера.

Любовь строят. Часто не вследствие, а вопреки. Иначе ты узнаёшь, что потерял только тогда, когда потеряешь. Она — тяжёлый, изнуряющий труд уклонения от обид, оскорблений, мук ревности и безразличия. Любовь заставляет принимать неприемлемое. Так строится миф, который, возможно, и есть настоящая жизнь.

А то, что люди называют жизнью, реальностями жизни, — на самом деле иллюзия.

И когда ты за нею тянешься, то, как владелец куска шагреновой кожи у Бальзака, отрывая от жизни кусок за куском, превращаешься в стареющее безобразное и одинокое чудовище.

Любовь, как лампу Аладдина, нужно прятать, дышать на неё, согревая, нежно гладить и потирать, чтобы уже покрытая налётом времени она вновь засияла и явила тебе... — джина.

Тщеславие женщины.

Тщеславие, как говорил один малоизвестный писатель, — это рычаг, которым Архимед пытался при-

поднять земной шар, а тщеславие женщины — субстанция, которая вообще малодоступна пониманию.

Она стала часто ездить на различные зарубежные курорты, даже для приличия не приглашая меня. Пыталась найти новую возможность, естественно в виде мужчины, проникнуть в богатство и процветание. Опыт, поставленный на мне, её вдохновил. Спросила бы меня, и я бы разъяснил, что на курортах найти ничего кроме венерического недомогания, да и то если ей здорово повезёт, как правило, не удаётся.

Возвращаясь после очередной неудачи, она, лёжа со мной в кровати, рассказывала, как она скучала по мне, про своих подруг, с которыми она ездила, но чтобы я не думал — ничего «такого» у неё не было, она мне не изменяла.

Отсутствие измены — это что, новый препарат в её коктейле?

Смотреть на неё в такие минуты, даже при моём болезненном состоянии, было неудобно, и я отводил глаза. И что совершенно чудовищно, я её уже не хотел. Не было того болезненного непреодолимого желания.

Она была мне неприятна. Она вкладывала меня в себя, шептала, как она по мне соскучилась, как она меня любит, царапала меня и щипала. Рефлексотерапия имела успех. В досаде и недоумении я кое-как справлялся со своим мужским безрадостным долгом. Новое сочетание практики и приговора моей профессионалки действовало. Я погружался в своё болезненное состояние счастья, надежды и веры. Ибо какая любовь без доверия? Любви без доверия не бывает.

Посмотрев на меня и успокоившись, Ольга уснула.

Спала она, совершенно беззвучно и не дыша, как мёртвая. Я настолько испугался, что даже хотел подне-

сти к её рту зеркало — узнать, дышит ли она, но тут в животе у неё забурлило, началась вулканическая деятельность, и я наполнился привычным счастьем бытия.

Неожиданно остатки разума проснулись во мне: «Ты что, совсем обезумел? Ты действительно веришь, что она с этой своей прошмондовкой Леной летает по курортам с целью отдохнуть в одиночестве? Ну, разум у тебя отшибло — это понятно, а память у тебя пока сохранна? Вспомни-ка, много ты видел на курортах одиноких женщин в одиночестве? У всех глаза недотраханной лани, особенно у таких маловостребованных».

— Ольга не такая, — упрямо возражал я себе, потому что редкие проблески здравомыслия повлиять на моё состояние уже не могли.

Как-то она вернулась после очередной турпоездки, и мы встретились в кафе, где я, радостный, её ждал. Заказали по рюмочке коньяка и кофе. И вдруг...

— Мы должны с тобой расстаться. Я тебя больше не люблю.

— То есть, — не понял я, — я тебя чем-то обидел?

— Ничем ты меня не обидел. Просто не люблю я тебя больше и всё, понимаешь?

— Не понимаю. Столько времени «люблю, схожу с ума» и вот — не люблю. Мы что с тобой, в школе? Целуемся на переменке? Или играем в ромашку: «Любит, не любит, плюнет, поцелует, к сердцу прижмёт?..» «Люблю» — это не раздвинуть ноги в парадняке. За «люблю» отвечать нужно. У тебя «не люблю». А мне что делать?

— Видишь, какой ты эгоист?

— Это я? Это что, я месяцами таскался за тобой, добивался ответной любви, страдал, плакал, чтобы, по-

лучив в ответ «люблю», тут же сказать: «а я нет»? Это я или это ты?

— Я подстраивал свою жизнь под твои интересы, готов был жить с твоим сыном, с которым, уверяю тебя, ты вряд ли найдёшь желающего сосуществовать, переносил молча твои одинокие турпоездки, твоих членострадательных подруг. Это я эгоист?

— А кто же тогда ты? И любовь, моя дорогая, — это не только поставить «раком» у стола, или содомировать стоя у стенки, любовь — другое.

— Но я сейчас не буду говорить о любви. Очевидно, тебе непонятно вообще, о чём речь. Поэтому поговорим о другом. Скажи мне, пожалуйста, как же ты, не любя, собиралась со мной создавать семью? Ведь нужно со мной каждый вечер ложиться в одну кровать. Шептать мне восторги. Тяжелая это работа.

— У меня проще. Я сказал: «буду с тобой всю жизнь, до конца», и альтернативы у меня нет.

— Люблю, не люблю, — это химера, окрашенная либидо. А предательство — это серьёзно. Наказывается смертью. Ты готова умереть? Вот я сейчас встану и уйду. Что будет?

— Я не смогу без тебя жить, — вдруг сказала она и заплакала.

В носу у меня защипало. Я поник. Любовное зелье ещё действовало. Мы пошли к ней ночевать, проникнутые любовным желанием, подогретым ссорой. Так мне казалось. Но я бредил.

— Она меня любит! — ликовал во мне маньяк. Но недолго. Просыпались депрессия, подозрительность и сарказм. И я снова лежал не во влажном волшебстве познания Рая, а в мокрых, дурно пахнущих простынях, в психическом уродстве этой нечистоплотной физи-

чески и морально любви, наказанный судьбой за страдание. Любовь не терпит примесей.

— Вот и приплыл. — Когда же это кончится?

Уколы прекратились. Развивался синдром отмены. Боль и уныние. Злоба. Изнуряющая безысходность. Утрата реальности. Не помню, как я жил, как ходил на работу, где и с кем находился. Изредка встречался с друзьями, где ненадолго приходил в себя. Отторжение, брезгливая неприязнь, ненависть и неодолимая тяга к её звериному сообществу переполняли мою больную душу. Так привязать меня, что другой среды я уже не знал и не хотел! На других женщин я смотрел подозрительно и враждебно: а вдруг они предпримут попытку вернуть меня в гигиенический и сухой мир их близости?

Встречался я с ней изредка, или мне просто казалось? Думаю, что встречался в бредовом полубезумном состоянии.

Я ощущал вид и запах её выделений, их количество, бесконечное разнообразие флоры и фауны, которым кишело её влагалище.

Её мокрая и тёплая нора кишела жизнью. Я видел белые налёты грибковой молочницы на стенках, юрких спирохет и неторопливых хламидий вместе со жгутиковыми, ползущих в горячих выделениях, разнообразных бактерий и простейших, обездвиженных лекарствами, представителей гнилостной флоры, жадно подстерегающих добычу. Так мне казалось. Парк Юрского периода. Именно это я чувствовал, погружаясь в болото её тёплых лохий, в ласковые движения её рук, втягивающих меня туда навстречу смерти в потоках саднящей жидкости. Вода лилась неудержимо на живот, на ляжки, на мокрые груди, на простыни. Гейзер начинал извергаться. И я снова кричал, как больное животное.

О стенки, с той стороны, с бешеной скоростью бились клубки, тоже желая принять участие в акте оплодотворения.

— Еби меня! — кричала она, — входи, входи, входи!.....

— Оргазм — сказала Любочка Фаенсон.

Я проснулся за столом.

Любочка Фаенсон, жизнерадостная увлекающаяся девушка, лет семидесяти, из окружения Заславского. У неё была хорошая память. Она помнила оргазм.

Мы сидели в гостиной её квартиры, где Сева, муж Любочки, приготовил картофельные оладьи. Он вообще замечательно готовит, и на кухне у них в разных баночках, пакетиках и кулёчках всегда что-то вкусно пахнет. Любочка позвала нас с Заславскими из Эрмитажа, где представляла подготовленную ею экспозицию лиможских эмалей.

Любочка — маленькая, бесконечно больная женщина, значительную часть жизни проводила в клиниках у нас и за рубежом, которые как бы являлись дополнением к чтению лекций по изобразительному искусству в разных странах и городах по тем разделам, в которых она считается знатоком.

Любочка, несмотря на то, о чем нам, мужчинам, женщинам говорить неприлично (конечно, я имею в виду возраст), неутомимо бегаёт по Эрмитажу с экскурсиями, так как постоянно востребована, ибо умеет передать и свои бесконечные знания, и свою увлечённость всем, кто имеет возможность и удовольствие её слушать.

Серьёзный и сам по себе интересный материал она всегда окрашивает интонациями личной жизни твор-

цов, их бед и увлечений, имеющих или возможно имевших отношение к созданию произведения. Интонациями порой весьма фривольными. В итоге мы погружались не только в эпоху создания работы, но и в быт, знакомились с характером и личными проблемами мастера, сквозь призму которых работа виделась уже в несколько ином, тёплом, окрашенном жизнью художника ракурсе.

— Приходите, — позвала меня Любочка, — Сева давно хотел угостить вас оладьями, Вы их очень хвалили прошлый раз.

У Любочки славная, интеллигентная манера приглашать. И ещё обращаться к слушателям примерно с таким оборотом:

— Ну, я больше останавливаться на деталях изготовления лиможских эмалей не буду, вам ведь это всё знакомо.

Вообще её бесконечное удивление тому, что есть ещё люди, не знающие, чем, например, гобелен отличается от шпалеры, было настолько искренним, что Любочка тут же старалась скрыть свою неожиданную бестактность.

— Оргазм, — продолжала Любочка начатую тему, пока Сева, стоя у неё за спиной, поддерживал стакан с вином в её дрожащих руках: Любочка держала стакан в двух руках как бы в горсти, чтобы не вылить.

— Оргазм... — и мы знали, что услышим суждение подготовленного и компетентного человека, каким, собственно, и являлась Любочка во всех темах, которых она касалась. Любочка Фаенсон — великий профессионал.

Заславский вполне уместно встраивал в тему беспокоящие его постоянно мысли о правильном пользо-

вании эрекцией, и беседа получалась живой и плодотворной.

В итоге я снова задремал. И опять привиделось.

Однажды в нашей тёпленькой постельке, в одном из любимых ею положений, как говорят французы — «ля ваш» (раком то есть, существует миф, что они большие мастера на подобные штуки), я заметил, что она осторожно, кончиком пальца потирает себе клитор. Это меня здорово обидело. В этот раз она к тому же была нормальной для женщины влажности.

Как я понимаю, с таблетками то ли перебрала, то ли недобрала.

— Ты что там, около клитора, делаешь? У тебя там крантик? За клитор ты можешь дёргать и без меня». — И тут, уже практически заливая меня, она сказала буквально следующее, причем назидательным тоном:

— Ты знаешь, клиторный оргазм, в отличие от вагинального, имеет свои особенности и более остро переживается?

Откуда мне знать, у меня же клитора нет.

— А выливается больше? — спросил я злобно. — До чего же ты разнообразна.

Интересно, вместо этой кобылы можно совокупляться просто с пробиркой или с овечкой Долли, например? Долли, как и моя подруга, вероятно, тоже сексуально непредсказуема. С другой стороны, что ей было делать там, в её Актюбинске, со всей её «ботанической ризницей» в промежности? Кроме разве мастурбировать. Ну а здесь-то зачем, когда она со мной регулярно захлёбывается в стонах. Бешенство матки?

— Клиторный оргазм, — сказала Ольга тоном педагога, стоя совершенно голая, но почему то в поясе для

чулок, какие сейчас не носят, и с указкой в руке, — имеет свои особенности...

Я видел, что ей снится в моём сне. Ей снилось, как утром, или вечером, или днём внизу живота появляются тянущие болезненные ощущения, даже боли, клитор напрягается, длинные пальцы тянутся в промежность, раздвигая половые губы.

— Это унижительно! Что я делаю? Ведь это безысходность, ущербность, — звучит в голове, но остановить это обездоленное наслаждение одиночества уже невозможно. Она закрывает глаза, судорожно напрягаясь и сдвигая бёдра. Пронзительное желание почувствовать мужчину заставляет горько стонать сквозь судорожно сжатые зубы. Веки плотно сомкнулись.

Так продолжается долго, мучительно долго. Наконец тело изгибается в судорожной дуге, раздаётся крик боли и жестокого наслаждения, почти до потери сознания. Потом клитор становится настолько болезненным, что притронуться к нему и получить то, что даётся мужчиной, невозможно. Усталость и неудовлетворённость.

— Ну что ж, от мужчины такого получить нельзя, тем более что его нет, — сказала она, обнаружив себя лежащей на нарах в тесной душной камере, сдвинув под одеялом ноги.

Внезапно дверь в камеру с лязгом распахнулась, и толстая здоровая баба с круглым лицом в вохровской форме наклонилась над нарами и угрюмо спросила: «Дрочишь?»

Ольга проснулась там, за Уралом, в её городе. Безжизненное белое солнце. Голая бесконечная степь одиночества, от которого не спасает работа.

Разбитая, опустошённая лежала она на спине, пытаясь убаюкать своё унылое, пустое лоно привычной ложью:

— Мне хорошо одной, я завишу только от себя...

Перекладывая очередной лист, он снова почувствовал боль в желудке. «Сколько я уже не ел? Сутки, двое? — Не помню. Воду я, кажется, принёс. Пойду, приготовлю горячее. Да и собака поест». Spина продолжала болеть, и он растёр её руками, чтобы встать. Тут впервые он обратил внимание на электрическую лампу под красным абажуром над столом и люстру под потолком. «Подумать только, а у меня здесь, оказывается, есть электричество». Он добрался до выключателя и нажал — свет включился.

«Почему я раньше не пользовался? Или пользовался? Забыл. Но каким образом сюда подаётся электричество?»

Выглянув из дома, он увидел линию проводов на деревянных покосившихся столбах, местами подгнивших, идущих куда-то через лес по холмам. Но куда?

«Ведь это остров, я чувствую — остров. Тогда как сюда провели электричество? Непонятно. Возможно, с другой стороны острова пролив совсем узкий и через него перекинули провод? Другого объяснения нет.

Я буду делать гимнастику, самомассаж, пить лекарства, ходить, прибавляя каждый день по несколько шагов. Неизвестно, выживу ли я, прочитав последние страницы. Когда научусь лучше ходить, нужно будет ещё пройти вдоль столбов и посмотреть. Я должен готовиться.

Он посмотрел на папку. Открыл.

«Мне больно, и нет надежды. Повреждённая моя память и постоянные видения мне мешают. Видения на

самом деле или явь? Это отвратительное половое чувство мне свойственно? Или след насилия над собой во имя сострадания и сочувствия?

Кто я такой? Господь Бог?

Кто сказал, что я имею право сострадать?

Гордыня. Грех.

Ну, а она? С её стороны? Она — почему так со мной? Как бы я ни был виновен, её я не понимаю. Ненавижу...

Не могу сосредоточиться. Нужно записывать, но машинка сломалась.

Я купил ноутбук и отправился к Виктору, чтобы он научил меня работать с компьютером.

Виктор жил на Большом проспекте Петроградской стороны в сером доме начала прошлого века. Тремя этажами ниже мастерской Заславского.

Виктор знал про компьютеры всё. Или почти всё. Много.

— Научи меня только печатать, — попросил я.

— Это сначала только печатать, — заявил многоопытный Витя, уверенный в моей любознательности, — потом тебе захочется ещё многого.

— Возможно, — ответил я, боясь потерять учителя.

Виктор — абсолютное воплощение российского интеллигента (других, я слышал, и не бывает) по внешности, интересам, психическим реакциям, образу жизни и некоторой мелкой подлянки, которая в нем присутствует, несмотря на широту мысли и благородство. Подобные смеси в русской интеллигенции встречаются, это общеизвестно, и если касается только женщин, то нам, мужчинам, в целом понятно, мы даже готовы это оправдать, потому что, прощая другим, прощаем себе.

Поскольку говорят, что интеллигенция в нашей стране окончательно исчезла, Виктор, безусловно, существо мифическое. Таких в природе нет. Я не знаю ни одного человека с таким именем при абсолютной правде написанного.

Впрочем, Заславского тоже не существует. И это знают все в Петербурге. Есть люди с такими именами и фамилиями, но это не они, безусловно. И если быть до конца честным, то и меня тоже нет. При всем реальном ужасе болезни любви, которой я неизлечимо болен. А есть какой-то психопат, который неизвестно как забрел на страницы.

И ещё совершенно реальны мои друзья, обладающие высокой нравственностью, усердием, жадной тачкой труда во имя, что порой бывает даже утомительно присутствовать рядом с подобными энтузиастами.

А вымышленный Виктор настолько естественен, что порой можно подумать — он на самом деле есть.

Как Васисуалий Лоханкин, он нигде никогда не работал. Этим самым выражал протест против потогонной, рабской системы социализма и проявлял анархические склонности. Это официально. Неофициально он всё время что-то делал и чем-то занимался, чаще всего во вред, но с диссидентской упёртостью.

Излишне сухой, чтобы не сказать тощий, а то потеряю учителя, с втянутыми скулами удлинённого лица, с высоким лбом, небольшими серыми глазами, серьёзными, выражающими муку от неизбежности своего существования и необходимости изредка заниматься делом.

Зачастую в беседе глаза его наполнялись смешливым изумлением. Тогда открывался мало что значащий рот, тонкие бровки поднимались домиком, выпадала сигарета и слышалось: «чушь собачья».

Для районной администрации и суда он был человеком неудобным и неприятным, зная законы и положения, не соглашаясь никак с тем, что ему навязывали, и упорно добиваясь своего с отталкивающей настойчивостью и незаурядной сообразительностью.

Кому это может понравиться? Не властям. Им он был противен.

В настоящее время Виктор судился из-за своей квартиры на третьем этаже, окнами на Большой проспект Петроградской стороны.

Лакомый для администрации кусок отдавать ему не хотелось, и были использованы все административные ловушки, которые Виктор героически преодолевал, вызывая общую неприязнь к своей интеллигентной борьбе за справедливость.

И поскольку на этот раз чувство справедливости сочеталось у него с материальной заинтересованностью, его борьба была обречена на успех, что впоследствии и подтвердилось.

Огромная квартира, тёмная, абсолютно разрушенная, с высокими, серыми в трещинах потолками, изъеденным паркетом, деформированными рамами с пыльными стёклами, с маленьким, но бесконечно высоким туалетом, с унитазом времён гражданской войны и стенами, окрашенными облупившейся тёмной краской, с тусклой жёлтой лампочкой, висящей где-то там наверху, вызывала опасение.

Сливной бачок то сливал, то не сливал, несмотря на ухищрения конструкторской мысли Виктора. Талант против сливного бачка был бессилен.

Крышка унитаза висела на гвозде, вбитом в стенку.

В большой сумрачной кухне имелась люстра — плод незаурядной конструкторской мысли хозяина. Она

представляла собой три деревянные, отполированные узкие доски, сколоченные неравносторонним треугольником, по углам которого были прикреплены три электрические лампочки, торчащие кверху.

Вешалка на стене в коридоре и кое-где встречающаяся дряхлая мебель пережили войны и революции и набеги разноплеменных гостей.

В одной комнате стоял большой стол с компьютером, облезлый диван, рояль, пара стульев и обеденный стол. К стенам были прибиты полки с книгами, нотами, кассетами и дисками, и как попало висели картины. Такова икебана.

Виктора трудно было назвать состоятельным человеком, судя по всему.

— Комната является единственным жилым помещением, — подумал я и ошибся.

В длинный, мрачный и пустой коридор с многочисленными углублениями выходили двери, таинственно закрытые.

Абсолютная тишина изредка нарушалась шорохами, и тогда в коридоре появлялись бесшумные, малоразличимые фигуры, мужские и женские, тощие, некормленные, с лицами, измождёнными интеллектуальной зависимостью, говорящие к тому же на иностранных языках.

Это проживали нищие и полунищие студенты и даже доценты из Америки, Германии, других стран и городов, и, что характерно, все без денег. Четвёртый интернационал. Состоятельные люди Виктора не посещали.

Проживали бесплатно и незаконно.

Питались они исключительно мыслями.

Как они находили эту квартиру — неизвестно, но появлялись и исчезали постоянно.

Еще какая-то истощённая, измученная болезнью женщина.

Однажды я там встретил энергичную тень дочери Заславского, особы весьма сублильной и при хорошем освещении, впрочем, как и её обессиленный поэзией муж.

Оба они были сухие, как щепки, и при интенсивном трении в них возникал огонь любви. Они непрерывно пламенели.

Вдвоём они бы свободно разместились в объёме одного средне худого человека. Кроме носов. Носы вызывали уважение.

Изредка из-за дверей доносилась музыка.

В настоящее время Виктор находился в страдании по причине любви к одной престарелой нимфетке двадцати одного года с эпатирующим, влекущим в кровать налётом дальневосточной инфантильности прямо на имидже.

Престарелые нимфетки были неугасимой страстью Виктора, но, в отличие от героини Набокова, юридически абсолютно безопасны по старости. Тем не менее, несмотря на законность общения, в Викторе колыхались нешуточные страсти. Это не было болезнью. Это был крайний вариант колебаний психики.

Под нимфеткой Виктор понимал, как мне кажется, особу женского пола 18–40 лет, вполне половозрелую, желательную с примесью других экзотических пород, источающую похоть, умственно недоразвитую и потому страстную.

Экзотические женщины — одно из проявлений неистребимого интереса Виктора к неизведанному. Он никак не мог поверить, что у них всё абсолютно так же, как и на молочной ферме.

Вообще-то главным в концепции так называемых нимфеток была разница в двадцать пять лет, что даёт мне надежду увидеть когда-нибудь Виктора рядом с нимфеткой шестидесяти лет отроду. У Виктора и сейчас наблюдались более древние особы, которых он величал «моя прелесть». При этом в себе угодливость первоисточника удачно скрывал. Наличие в окружении Виктора преимущественно подобных особ женского пола способствовало погружению его в беспросветную унылость и пессимизм, особенно, касательно возможности жениться. Да это и хорошо. Предположить, что женское окружение Виктора способно рожать, а не только музицировать, мазать кистью, высказывать полоумные суждения, не осмеливался никто из тех, кому этих нимфеток удалось увидеть.

Восточные же черты отмеченной выше нимфетки также проявлялись во вздорном характере, непредсказуемости и упёртости.

Она периодически исчезала из жизни Виктора то в свои забайкальские края, то в университетское общежитие, то неизвестно куда, но всегда возвращалась, когда кончались деньги.

Последнее время она увлеклась своим педагогом — профессором философии, которого неистребимо хотела.

Сам же профессор, наплевав на мужскую гордость, боялся адюльтера из-за старшей по званию должности и, возможно, возрасту, жены, что, глядя на него, казалось практически невозможным.

Вот такой любовный треугольник.

Виктор, скорбя, терпел всё, включая профессора, и глаза его наполнялись безысходностью.

Будущий суррогатный философ неутомимо занималась живописью у Заславского и фортепиано у Вик-

тора, окончившего заодно с техническим вузом консерваторию.

Занятиями нимфетка, видимо, хотела притупить чувство неодолимого влечения к противоположному полу, написанному на её восточном лице, возможно еще Буддой.

Сняла нарастающее напряжение неожиданно появившаяся в квартире пританцовывающая нимфетка из Германии, с явной примесью негроидной крови. Она тут же была согласна расплатиться за жильё своим телом и влюбилась в Виктора. При этом она была так худа, что воспалённый жар Виктора проникал сквозь неё в тюфяк, и она дрожала от холода ввиду конденсации.

Неожиданное приключение помогло Виктору воспрять духом и телом, при этом возненавидев имеющегося у неё жениха не то из Гамбурга, не то из Дюссельдорфа, наплевав на которого, нимфетка вступила в сомнительную связь.

Из создавшегося положения имелось два выхода: отъезд в Германию навсегда или проживание негроидной нимфетки в его неотразимой квартире.

Неустойчивое равновесие внутреннего мира Виктора рухнуло с отъездом девицы в Германию по месту жительства.

Так что единственным постоянно проживающим существом в квартире оставался чёрно-белый кот приятной наружности, с длинной блестящей шерстью.

Витя постоянно вычесывал кота, чтобы на нём не оседала вековая пыль.

Кот же настолько любил Витю, что никогда не отлучался из квартиры и не появлялся на крыше.

Правда, злые языки говорят, что его там нещадно били, и ему это надоело.

Кот являлся истинным хозяином квартиры и, проникая в самые отдалённые уголки, оттуда противно и отчаянно мяукал, призывая подругу и оставляя там неистребимый запах любви. Подруги захаживали.

В такие моменты кот с Витей были весьма похожи.

Во всех остальных своих проявлениях кот был безупречен.

Я зашёл к Виктору после работы, и мы сели за компьютер. Процесс продвигался медленно. Его утверждение, что он может научить работать с компьютером даже дерево, возможно, непосредственно касалось меня, а уж Заславского точно.

За стеной только что проснувшаяся нимфетка, свежая и холодная, как вода Байкала, упражнялась на фортепиано.

Витя сидел напротив меня с синяком под глазом, добытым в борьбе за честь возлюбленной со своим коварным другом, проявившим к ней неосторожное, но спровоцированное внимание.

Мог бы, заодно, вмазать и нимфетке. Стали бы с ней похожи друг на друга.

Виктор был задирист, как боксёр легчайшего веса, и поэтому часто появлялся со следами использованных возможностей на лице и теле.

В отличие от моих друзей, невыносимых к побоям, Виктор сразу почувствовал зреющее у меня намерение убить Ольгу и понял, что путь выбран и останавливать меня бесполезно.

Ему было понятно ощущение трагической и безысходной правоты.

И он был хорош, этот Виктор, который жил на три этажа ниже Заславского.





Я двигался по той стороне Невского, которая наиболее опасна во время артобстрела, как свидетельствует табличка, и на которой тем не менее толпа прохожих значительно гуще, чем на противоположной. Вдали, на Знаменской площади, перед Московским вокзалом, торчал красного гранита штык, на месте стоящей ранее статуи Александра, пронзивший живую плоть города изнутри и уродующий перспективу.

Расстроеным воображением я увидел по моей стороне невидимую пока помпезную, сталинской эпохи, станцию метро «Площадь Восстания», окончательно уничтожившую ансамбль Знаменской площади.

Если с площади свернуть налево по Лиговскому проспекту, то, пройдя чуть больше квартала, находится унизительное творение барачной послесталинской архитектуры — концертный зал «Октябрьский», построенный на месте снесённого Греческого собора и уничтоживший заодно перспективу улицы Жуковского, превративший небольшую уютную площадь в концентрационный плац.

Однако до Знаменской улицы я не дошел, а свернул по Фонтанке до улицы Пестеля, прошелся до Гагаринской, снова свернул и, не доходя двух-трёх домов до Невы, нырнул под две арки на третий двор дома, где на первом этаже находилась мастерская Александра Борисовича Батурина. Очень лестно приписывать себе дружбу большого художника или большого человека вообще, а тем более известного. В своё оправдание могу сказать, что Александр Борисович постоянно и гораздо чаще, чем я его, называл меня «мой друг», так что вполне возможно, что так и считал. Называть же его Сашей я не мог — Александру Борисовичу было уже за семьдесят, и хотя он по-прежнему и не без оснований

пользовался успехом у дам, перейти, как они с ним, на «ты» я не мог.

Александр Борисович, потомственный дворянин, проживший всю «милуху» от её сфабрикованного начала до бесславного конца. Прожить столь долгую жизнь без коллизий «в нашей юной, прекрасной стране» он не мог.

Начав учиться живописи в мастерской В. В. Стерлигова, он вместе с учителем в 1934 году был арестован за участие в убийстве Сергея Мироновича Кирова, о существовании которого до этого и ещё долгое время после, возможно, и не подозревал. Двадцать два года он прожил вне Петербурга и, что наиболее удивительно, эти годы лагерей, тюрем, пересылок, этапов, поселений его совершенно не озлобили. У него не было претензий ни к трибуну Кирову, ни к администрации лагерей, ни к судьям, ни ко всей нечисти и подлости, которая окружала его все эти годы. Не вникая в предпосылки, он воспринимал обрушившуюся на него судьбу как данность, и как истинно русский человек, как человек этой популяции, старался находить и потом старался вспоминать только хорошее в окружающем его тогда ужасе. Так, я думаю, он выжил. В отличие от Мандельштама, с которым он познакомился в теплушке на пересылке.

Его воспоминания при всей своей ясности и правде казались порой абсолютным мифом. Так, он рассказывал о своём длительном романе с «вохрой», по его словам очень привлекательной женщиной. Не будем говорить о том, что в тех условиях все женщины казались, вероятно, красавицами, тем более что нас там не было, а поверим рассказчику на слово. Они встречались, когда его изредка выпускали из лагеря, и она конвоировала его в ближайшее поселение. Как истинный

джентльмен, он, выйдя из лагеря, тут же забирал у неё винтовку, чтобы ей было легче идти. Таким образом они добирались до места интимной встречи. Назад он тоже нёс её оружие и читал ей стихи. Вероятно, сказались знакомство с Мандельштамом. Но вот как могут любить русские женщины. Отдавая оружие классовому врагу... Не боясь смерти. И даже его побега.

В самих лагерях относительно себя А. Б. тоже никаких ужасов не вспоминал — он рисовал плакаты, оформлял стенгазеты, писал объявления, делал разную другую работу художника. На лесоповале он не был. Ему повезло.

Ещё он рассказывал историю об одном совершенно замечательном начальнике лагеря, который будто бы на его глазах снял и отдал свои сапоги зека, проигравшему эти сапоги в карты. Ясно, что в случае неполучения этих сапог любым путём вплоть до убийства начальника лагеря, зеку грозила смерть. Вот тогда, по словам А. Б., начальник лагеря стянул с себя сапоги и сказал что-то типа: «заработаешь — отдашь». Где заработаешь в лагере на хромовые сапоги? Ну, если только, «пришьёшь» другого начальника. (Фигня какая-то. Но правда).

Вернувшись в Петербург, Александр Борисович непрерывно работал. Отношения между ним и его учителем Стерлиговым несколько изменились, однако вера в учителя у Александра Борисовича была непрекращаемой. Имеются разные недомолвки. Однако по логике ясно одно: по срокам репрессий, втрое превышающим, А. Б. для «милухи» был значительно большим «врагом народа» чем Владимир Стерлигов.

Когда мы познакомились, Александр Борисович жил вместе с женой Марией Александровной (тоже из «бывших») в маленькой квартирке на Петроградской

стороне. Общались они замечательно: она называла его А. Б. или Сашенькой в зависимости от обстоятельств, а он её Машенькой или уважительно в третьем лице Марией Александровной, когда её не было. От их общения веяло уютом булгаковского мира и чем-то давним и прочным, которое всё ещё встречается.

Александр Борисович любил выпить, косил взглядом на молодых женщин, что лично я считаю положительной чертой, был тонко ироничен, приветлив и щедр. Он охотно ссужал деньгами и при этом никогда не напоминал о долге и сроках. Правда, его окружали люди, которые долги платили.

В нашем общении я его иначе как «убийцей трибуна» не называл, и он, лукаво глядя на меня поверх очков, сетовал: «ну, что вы, друг мой». Помню, мы отмечали старый Новый Год в мастерской Зубкова. Решили сделать костюмированный вечер, и Зубков, Носов и Гостинцев оделись Ждановым, Берией и Джугашвили, образовав тем самым пресловутую импровизированную «тройку» для осуждения опаздывающего к ужину убийцы «любимца партии». Но проникательный Александр Борисович к сюрпризу оказался готов, и не успел представитель «тройки» сказать и двух слов, как А. Б. вытащил пистолет и двумя капсульными выстрелами положил «вождя всех народов». Как я понимаю, после убийства Кирова, дело это стало ему уже привычным.

Обращались друг к другу А. Б. и Мария Александровна церемонно и почтительно. Однажды у меня в гостях мы с А. Б., видимо, чрезмерно увлеклись водочкой, как вдруг услышали...

— Сашенька, смотри, будет, как вчера.

— А что было вчера, Машенька? — У Александра Борисовича вздёрнулся нос и хохолок на голове.

— А вчера, Сашенька, если ты не забыл, тебя двое втащили в квартиру.

Возвратившись из творческой поездки в Ниццу, А. Б. в галерее «Спас» выставил свои этюды и на обсуждении, будучи «навеселе», я набросился на современное изобразительное искусство, обвинив его в бесполости, отсутствии либидо у авторов, несмотря на откровенное изображение мужских и женских тел и органов. А меня, в связи с Ольгой, половая тема переполняла так, что из ушей текло. (Опять «текло», замечу.)

— А в работах Александра Борисовича, художника старшего поколения, и сейчас виден мужчина, даже если это пейзажи. Да и понятно — не каждому из нас дано «завалить» одного из вождей революции.

Вечером на следующий день мне позвонил А. Б. и обиженно сказал: «Не ожидал от вас этого».

— Чего этого, Александр Борисович?

— Вашей статьи в «Коммерсанте».

— Я не писал никакой статьи в «Коммерсант».

— Да, ладно вам!

Я бросился по ларькам искать статью во вчерашней газете. Наконец нашёл подвал с заглавием: «Убийца Кирова вернулся из Ниццы», прочел и позвонил А. Б.

— Александр Борисович, я прочел статью и, поверьте мне, я её не писал, хотя не вижу, что в ней вас так задело. Статья написана с откровенной симпатией, и некоторые наши зарубежные диссиденты, как, например, Лимонов или Шемякин, полжизни бы отдали за подобную биографию, и не пришлось бы им носить сапоги и кепочку. И, кроме того, как мне кажется, на ваши картины увеличится спрос и цена. Вглядитесь в светлые стороны происшедшего. А я здесь ни при чём.

Потом эта история забылась.

Когда я вошел в мастерскую, Александр Борисович сидел за столом и мастерил рамки. Он внимательно посмотрел на меня снизу вверх своих очков, понял и сказал: «По рюмочке?» Потом принёс графинчик с водкой и два пирожка.

А. Б. обожал пирожки и булочки и даже когда лежал в больнице на вопрос: «Что принести?» отвечал: «Пожалуйста, пирожков или булочек, которые я люблю, из хорошей булочной».

Мы выпили по рюмочке. Он ещё раз внимательно взглянул на меня.

— Всё проходит, мой друг.

— Не всё, Александр Борисович, не всё».

Старик поднял глаза от написанного и разогнул спину. Последние дни ему было лучше — он больше двигался и меньше уставал, но сейчас боль уложила его на кушетку. Он укрылся одеялом и задремал. Из открытой двери задуло, он почувствовал и проснулся. Лампа горела. Он накинул на себя одеяло, сел и снова наклонился над папкой...

«Ирочка, после возвращения Заславского из Америки, достаточно успешного в финансовом отношении, наполненная великой радостью буддизма, решила пока погрузиться в китайские его оттенки в том смысле, что, как ни погружайся в пути познания или в единственную дорогу Дао, среди людей ты должна существовать достойно, и на заработанные деньги бросилась покупать себе разные одежды и вещи. Сделала ремонт в злополучной ванной, после чего ванная из обычной превратилась в модную треугольную, в

которую Заславский из-за старой спины и ног не помещался.

Денег скоро не стало, зато Ирочка обнаружила больше склонности к Заславскому и даже, говорят, допустила его к себе, несмотря на феромоны. Вскоре возросшие возможности Заславского её стали утомлять, но мастера, расположенного к одержимости, это мало от неё отвлекало. Заодно он затеял ремонт и в мастерской и в конечном итоге от переутомления впал в транс.

Бодхисатва пришёл в себя ровно через двадцать один день, заявив «очко», и был очень удивлён царившим в мастерской полным разорением, среди которого диким недоразумением выглядели новые, абсолютно белые и чистые пластиковые стеклопакеты вставленные, оказывается, за большие деньги ещё до погружения его в сексуально изнуряющий транс.

— Хуйня какая-то получилась, — задумчиво сказал Заславский и, не желая погружаться дальше в бесплодные размышления, тут же начал писать картины.

Где-то во временном и пространственном отдалении неясно двигались смутные фигуры будущих покупателей, обещая конечное материальное благополучие.

В одну из ночей, ввиду вернувшейся благосклонности Ирочки, Заславский трижды впадал в нирвану и к утру чувствовал себя достаточно опустошённым.

Он лежал на спине, не шевелясь, с полностью бессмысленным взглядом, направленным в глубины. Лёгкий оскал наводил на грустные вопросы типа: «Ты ещё с нами, учитель?»

Подошедшие ученики, убедившись, что у старца незаметное для глаз дыхание пока есть, реанимационную бригаду решили не вызывать, участвуя в ожидании сокровенного.

Через три часа Заславский встал и тут же понёс нечто маловразумительное, где, к удивлению окружающих, не было ничего о правильном пользовании эрекцией. Видимо он просветился всё-таки, но не окончательно, так как ночью снова стал приставать к Ирочке.

— Ты совсем рехнулся, — сказал ему старый товарищ, как только Заславский стал фиксировать взгляд. Умрёшь ведь. Они шли втроем к Борщу на день рождения.

— А какой сделать ему подарок? — спросил Заславский, прекрасно зная, что в конечном итоге купят водку.

— Только новую марку, — категорически попросил Заславский.

Купили старую, но оторвали наклейку — «на берёзовых бруньках» и наклеили новую: «Водка. Как три залупы. Подарочная».

Праздник прошел обычно. Как всегда блеснула Ирочка. При появлении в компании некоего известного художника, нарочито заросшего колхозного вида, Ирочка спросила его: «Вы кто, охотник или рыбак?» Но художник на бестактность ответить не успел, так как быстро напился.

После дня рождения Борща я опять бродил по ночному городу, сначала по Большому, изувеченному новыми зданиями универмагов и банка, а затем по набережной Невы.

Своим полуразрушенным мозгом с маниакальной настойчивостью я анализировал ставшие всё более редкими встречи с Ольгой и более частые её поездки в командировки и за рубеж.

— Она всё больше устает, — размышлял я, — поэтому она такая вялая и так быстро засыпает. Но её бес-

пardonное выдёргивание плеча из-под моей руки, её «щекотно», были грубы и унижительны.

— Не послать ли её раз и навсегда? Ведь я определённо вижу, как мной манипулирует эта холодная и расчётливая особь. — Я её придушу — прозвучало отчётливо и категорично.

Я всё чаще находился в состоянии угнетения и депрессии, когда видел её до отвращения отчётливо, редкие встречи и приступы восторга уже мало влияли на постоянное неверие в будущее и безнадёжность. Болезненные прояснения сознания, наоборот, становились всё чаще, вызывая гнев, озлобленность и желание возмездия. Время пришло».



Часть вторая

Палач



«Я тупо и угрюмо существовал от встречи и до встречи с ней».

Он снова оторвал взгляд от страниц и задумался, уже осознавая, кто автор этих страниц, чувствуя, что приблизился к развязке и скоро узнает, каким образом, точнее, почему он оказался здесь, и это знание так его тревожило, что он не в силах был читать дальше. Вместо этого он решил заняться своим здоровьем, чтобы, во-первых, быть готовым принять то, что ему предстояло, и, во-вторых, подготовиться к дальней дороге назад, в город. Он стал ежедневно готовить себе горячую пищу, которую ел, правда, нехотя, пил регулярно лекарства, занимался самомассажем и ежедневно с собакой ходил на родник за водой и на берег озера, где изредка даже купался и обтирался полотенцем. Примерно через неделю, когда он счёл, что достаточно окреп, он снова начал читать.

«На этот раз она вернулась из поездки в Египет. Я точно помню время, дату и погоду в тот день, и как выглядел город. И наш разговор.

Помню утренний звонок:

— Я вернулась, но я больше с тобой встречаться не буду. Я встретила человека из Москвы и перебираюсь

к нему. Я с ним спала. Кроме того, он предложил мне более высокооплачиваемую работу. Так что прощай.

Ничего не произошло. Только язык и щёки и губы занемели и закололи, как после анестезии зуба. И полное молчание внутри.

Мысли. Разговор. Как будто не я разговариваю...

— Прощай и всё? Два почти года встречались взрослые люди, намеревались жить вместе и нечего сказать при расставании? У вас на Урале так принято? В Петербурге нет.

— Хорошо, давай встретимся в десять вечера в кафе?

— Спасибо, — съязвил я.

Доплёлся до дома в ознобе. Надел тёплый спортивный костюм и лёг под два одеяла, укрывшись с головой и скрючившись. Долго не мог согреться. Лежал в темноте, стучал зубами и думал: «Сегодня убью». Тело покрылось крапивницей, лихорадка тридцать девять и пять. Принял две таблетки тавегила и аспирина. В девять часов встал, оделся и отправился в кафе. Чувствовал себя разбитым, обессиленным, но спокойным.

В кафе я рухнул за столик и выпил полстакана водки.

А вот и появилась она, загорелая...

— Что ты мне хотел сказать?

— Я? Тебе? Мне казалось, что это ты мне.

— А мне нечего сказать — разлюбила и всё.

— Это я уже слышал. А дальше?

— Не понимаю, что дальше?

— Дальше это: «Я не могу без тебя, я буду с тобой до конца, всю жизнь, чтобы ни случилось». С этим как нам быть?

— Мало ли чего я говорила. Забудь.

— А если я не могу забыть? Если я тебе поверил? Если я жизнь свою на этих твоих словах построил, если ты мне сейчас...

Как мне выживать? Если ты у меня уже вынула жизнь и мне осталось только существовать, то что мне делать? А? Что делать-то, подскажи.

— Ну что ты ноешь? Вёл бы себя как мужчина — дал по морде, ушёл и забыл!

Ну что ж, по морде, так по морде. Из её глаз брызнули слёзы. Вид был удивлённый, не обиженный. Видно, не ожидала.

— Я теперь выгляжу, как мужчина? Готов это делать каждый день, если тебя это остановит. Я уже делаю с тобой многое, от чего нормального, здорового человека тошнит, можно и это. Что же касается «ушел и забыл» — то поверь, столько забыто — до Москвы не переставить «ля ваш». От бессердечия и спеси. От равнодушия. И в тех действиях мужчиной-то как раз и не пахло. А вот оторвать тебе башку — дело, пожалуй, мужское.

А ещё наступить на самолюбие, быть униженным, терпеть — для этого нужно много мужчины. Я ведь тебе тоже сказал «навсегда». И верю. И креплюсь...

— Ну, ладно, так что же всё-таки будем делать с тобой? — повторил я вопрос.

— Догадываешься?

Я не христианин. Мой народ архаичен. У нас левую щеку не подставляют. У нас «око за око, зуб за зуб», жизнь за жизнь...

(Дошло наконец. Испугалась).

— Никого у меня нет в Москве, не изменяла я тебе. Я это придумала, чтобы мы с тобой расстались.

— Ольга, кто из нас дурак — я, который тебе поверит, или ты, которая, как недоразвитая школьница, та-

кое придумала? Посмотри на меня. Мне легче от того, что ты придумала? Уж лучше бы ты это сделала. Может быть, таких как ты и убивать бесполезно, а нужно выводить, как паразитов?

Ответ последовал асимметричный.

— Я вижу, ты без меня уже не можешь, дорогой, и я по тебе так соскучилась. Давай забудем и пойдём?

Господи, опять началось.

— Она меня любит. А у меня паранойя с подозрительностью, галлюцинаторными видениями её измен и холодности.

Дома она разделась догола, бросила на пол трусики, пропитанные коричневатой жидкостью с примесью тёмной крови; тонкие струйки крови стекали по внутренней поверхности бедер. (Видимо, чтобы не забеременеть на курорте, приняла таблетки для вызова преждевременных месячных.) Потом она подошла ко мне и прижалась, и я почувствовал смертельную неистребимую вонь. Я вытащил её из комнаты и повлёк в ванную, где и совокуплялся, видя на члене пятна коричневой крови и капли жидкости с белыми хлопьями и ощущая непреодолимое отвращение к этому скотоложеству, которым я занимался в своём безнадежном шоковом состоянии, в своём горьком больном, исковерканном мире. Не в силах отказаться.

Потом я вышел из дома, подошёл к каналу, наклонился, и меня вырвало. Ноги дрожали от слабости. Я полз неизвестно куда. Мерзкое больное животное.

Синдром отмены. Ломка.

Начиналась полоса одиночества. Период спутанных мыслей, непонимания окружающего, необоснованных надежд и губительных разочарований, страшной ломающей физической боли, сумасшествия.





В моём помутнённом сознании исчезло ощущение непрерывно текущего времени, отмечаемого течением часов, дней и месяцев, нормированных единицами времени — минутами и секундами.

Даты я перестал замечать, как и события вокруг меня.

Время я ощущал всё более дискретно, веками — от встречи к встрече с ней, причем в этом времени я жил, а все остальное, происходящее со мной и вокруг меня, я представлял иллюзорно и практически не запоминал — прочитанные книги, встречи, работу.

Даты происходящих событий сливались в одну, и я не мог себе представить отчётливо, когда происходили даже те события, которые мне удалось запомнить.

Я помнил только свидания, отказы от свиданий, грубые оскорбляющие выходки, бесчувственную небрежность, равнодушие, холодность.

От открывания глаз утром и до позднего короткого ночного сна я непрерывно мысленно общался с ней, доказывая себе, что с ней следует порвать, понимая, что не могу.

Почему? Потому что она не понимает, что любит меня, потому что я обещал, когда ей было плохо, что не оставлю её. (Поэтому ли? Тут тоже была неясность. Может быть потому, что нет сил бросить? У кого? У меня? Вот эту вот? Чего вдруг?)

Меня ломало от долгого отсутствия близости с ней, и я шёл на любые унижения вплоть до демонстрируемого ко мне безразличия, чтобы только избавиться от преследующей меня бесконечно боли.

Я встречал на улицах, в кафе и барах, в музеях и театрах множество прелестных женщин и девушек с прекрасными лицами и фигурами, но они меня не ин-

тересовали. Они теперь мне были непонятны, как жительницы других планет.

Да и зачем они мне, когда рядом со мной лежит, родная, мокрая и тёплая планета, испускающая газы?

Маниакальное ликование в такие минуты снова охватывало меня.

В шизоидной мелодии раздвоенной личности отчётливо звучали нотки циклофрении, маниакально-депрессивного психоза в виде немотивированной радости маньяка от ощущения грядущей встречи и тяжёлых, длительных приступов депрессии в моменты понимания, что тобой определённо манипулирует эта холодная и расчётливая особь.

Стал редко ходить к друзьям, потому что моё состояние их расстраивало.

Умер Саша Задорин.

Заболел он внезапно. Было очевидно: жить несколько месяцев.

Сначала хотелось надеяться — есть похожие симптомы у других, более благоприятных заболеваний. Но при современных методах обследования ясность наступает довольно быстро.

К сожалению, в лечении таких успехов нет.

Что сказать любящим и близким людям, которые тебе тоже не безразличны? Прямо в лоб — это безнадежно? И тем не менее: «а вдруг?» Иногда такое в медицине случается. Правда, крайне редко. Что же делать?

Подсказать, кто в городе занимается этой проблемой достойно. И ни в коем случае самому. Потому что ты необъективен к близким людям. И, следовательно, реальна ошибка. И в такие моменты понимаешь, насколько тебе близок этот человек. Это, конечно, касается операций с большим риском. Менее опасные, на-

верное, возможно выполнять близким, хотя в принципе тоже неправильно. Для тебя оперативное вмешательство менее сложно, а для больного его паховая грыжа значительно более тревожная и опасная болезнь, чем рак пищевода у соседа.

Итак, необходимо «светило». Их по этой проблеме в Городе несколько. Я, по крайней мере, знаю четырёх. «Отягощенных» званием профессора. Ещё есть неотягощённые, но работающие не хуже. Менее известные в силу разных обстоятельств, но не менее профессиональные.

Дело в том, что радикальная операция, скорее всего, невозможна, кто бы её ни исполнял, здесь и за границей.

Что касается химиотерапии, то есть её сторонники, убеждённые в необходимости применения самых современных подходов, хотя химиотерапия страшно отягчает последние месяцы существования больного, и если продлевает жизнь на пару месяцев, то не всегда достаточно достоверно. Я не сторонник химиотерапии в данном случае, но и возразить родственникам, желающим любыми средствами помочь близкому человеку, мне нечего.

Сашу поместили в первоклассную клинику, где химиотерапия проводилась по самой современной методике, и после каждого введения препаратов он испытывал резкую слабость, угнетение, расстройство деятельности кишечника. Быстро нарастало истощение. Слава Богу, боли были незначительными. Потом на некоторое время наступало улучшение. Он с трудом добирался до мастерской и работал. Наступало время следующего ведения препарата, и всё повторялось. Необходимо было закончить курс лечения.

Большой, сильный, даже несколько грузный, весёлый, подвижный человек на глазах превращался в свою тень. Саша был центром вселенной, вокруг которого вращались друзья, родные, чада и домочадцы, мама, некие случайные люди, притянутые его харизмой.

Наши походы в бани без него приобрели свойство какого-то надрывного и испуганного веселья. Исчез этот бесконечный источник шуток, анекдотов, розыгрышей, частушек, подозрительных на сочинённость историй из личной жизни. Есть в среде художников человек по фамилии Ветрогонов. Саша всех уверял, что он сменил фамилию. Первоначальная, до Революции была — ПердуревЪ.

Помню, рассказывал он, как-то мы ещё молодыми людьми поехали в Среднюю Азию на натуру. Там в горах купили дёшево замечательный мех на шапки. Мы были бедные художники, и ходить по городу в прекрасных шапках, восхищая встречных девушек, нам импонировало. Один из моих друзей дал мне адрес замечательного скорняка. Мы пришли в мастерскую.

Моисей Абрамович посмотрел на нас поверх очков, потрепал мех, снял с шеи сантиметр и измерил нам головы.

— Моисей Абрамович, — обратилась к нему помощница, сидящая за журналом, — какой мех писать?

— Пиши, девочка, мех — говно.

Такой одарённый, такой добрый, такой надёжный и такой ранимый, такой принципиальный и бескомпромиссный в творчестве, такой классически глубокий и молодой, такой необходимый и великий — что, Бог, тебе некого было взять к себе!?

Он вёл мужественную борьбу за выживание. Беспрекословно выполнял все назначения, муки химиоте-

рапии, строгость диеты — он, сибарит, гурман и барин.

— Мне разрешили пить пиво, — сообщил он довольный, только вот поносы...

— И у меня каждый день понос, — сообщил Заславский, желая успокоить и помочь Саше, — мол, ничего в этом страшного нет. А вообще, это иудейская привычка сказать, что у тебя тоже плохо или даже ещё хуже...

— Давно? — спросил Задорин.

— Всю жизнь, — ответил Заславский.

— Это у тебя от счастья бытия, а у Задорина от лекарства. В этом разница, — вмешался я, — и вообще, ты сейчас не с Румянцевым на острове, чтобы демонстрировать свой понос.

— Мне мой понос тоже очень близок. Как Ирочка, — заявил Заславский.

Задорин улыбнулся.

Первые месяцы лечения Задорин был полон надежд на выздоровление и с нетерпением ждал, когда слабость пройдёт и он сможет полноценно работать. Правда, пертурбации с внутренностями, которые ему устроили хирурги, вызывали тревогу и беспокойство. Вывели тоненькую трубочку из живота, в которую периодически заливали лекарство. Это и была химиотерапия. Говорили, что временно. Но мучительно. Сквозь плотную психологическую защиту изредка прорывалось: «Время идёт, а улучшения я не чувствую».

— Так и должно быть, — говорили врачи, — клинические результаты и анализы хорошие. Нужно дождаться полного окончания курса. — И Саша терпел и не давал себе расслабиться.

Каждую свободную минуту, преодолевая слабость, работал. Те, кто видел, говорят, что наработал

много и прекрасно. Работал, надеялся и ждал, когда ему станет лучше, и он вернётся к своей чадолюбивой, до края заполненной, искрящейся и грохочущей жизни.

И опять вокруг зашуршат друзья и поклонники, и он опять начнёт рассказывать, и все будут внимать.

— Вот только закончу принимать лекарства.

Последние месяцы лучше становилось всё реже и на короткое время. Надежда оставляла его. Прошла его большая персональная выставка в Манеже. С успехом. И снова казалось, что всё наладится и нужно терпеть. Терпеть часто становилось невозможно, даже ему — мужчине с большой буквы.

Изредка появлялся на выставках и презентациях, спокойный, резко похудевший, в висящих на его скелете теперь огромных костюмах. На тактично не замечающих его изменений друзей не обращал внимания. Рассказывал анекдоты и байки. Задумчиво и покровительственно «по-задорински» смотрел. Иронизировал. Иногда, правда, не выдерживал: «Ну, зачем же вот так писать — с холодным носом?»

В эти недели и дни надежда, по-видимому, оставила его, но он не хотел расстраивать друзей и близких и играл с ними в эту христианскую игру взаимного непонимания и надежд. Эта игра давалась ему с трудом, но играл он великолепно. И писал. Писал с последним желанием выплеснуть себя на холст и таким образом вернуть уходящую жизнь. Всё богатство таланта, собранного через боль и безнадёжность, чтобы вернуть её, эту жизнь, уходящую, полную намеков и страданий, любви и отчаяния, великого мастерства, болезненного окончательного постижения невольно сейчас проникнутого проблесками истины и света, пришедшими из небытия, выплёскиваются им на холст.

В Лебяжьем, когда к нему на дачу приехал Румянцев, Задорин попросил его написать портрет.

И Румянцев написал. Как пишет часто Румянцев — не то, что видно, а то, что есть.

Задорин посмотрел на портрет, лицо его дрогнуло.

— Я плохо написал, у меня вообще плохо получилось. Дай мне, я перепишу, — испугался Румянцев.

— Нет, получилось, — ответил Задорин и повесил портрет в мастерской.

В последний светлый промежуток Задорин уехал на Мальту, где он написал свой последний автопортрет. Без сантиментов.

Много ли нужно художнику, чтобы быть бессмертным и великим? Напиши один автопортрет. Всего один. Но такой, какой написал на Мальте Задорин.

На Мальте ему стало совсем плохо. Он вернулся ослабленный, покрытый болезненной тёмно-шафранной желтизной и через несколько дней умер.

За день или два до смерти у себя дома он угощал меня обедом. Сам кушал с отвращением. Показал на стопку своих работ, стоящих у стены и сказал:

— Возьми какую-нибудь себе.

— Успею, — ответил я.

— Нет, сейчас. — И посмотрел на меня откровенно.

А мы всё ходим в баню, правда, уже не всегда так дружно, как раньше, — отсутствует что-то неуловимо важное, соединяющее нас. И если собрались все вместе, и ты идёшь по проходу и видишь в глубине класса свою привычную и родную толпу, только без Задорина, ловишь себя на мысли спросить:

— А что, Задорин опоздал? Или его сегодня не будет?

Не будет».

На острове потеплело. Появилось солнце. Что-то похожее на бабье лето.

Итак, она сказала мне «Я тебя не люблю». Я впал в отчаяние, в сумасшествие, в болезнь. По существу ушел из этого мира в свой. Я говорю «мой мир», потому что теперь понимаю: он — это я. Но на остров я тогда не попал. Не это было причиной. Я ещё частично сохранил разум и критику. Так что же окончательно разрушило меня, превратило в этого одинокого старика?

Я решил отдохнуть и пару недель к папке не прикасался. Упорно, преодолевая боль, делал физические упражнения, гнулся, поднимал камни, чтобы укрепить руки и спину. Результаты были налицо: я уже ходил без палки, двигал правой рукой и ногой, хотя мурашки справа ощущал, и правая половина была явно слабее левой. Убрал в доме и сарайчике, вымыл посуду и поставил всё на свои места. На родник и обратно теперь хожу меньше чем за час, делая две-три остановки с заполненным ведром. Каждый день готовлю еду и вместе с собакой обедаю. Ежедневно вечером нагреваю горячую воду и обливаюсь. Выстирал и высушил бельё и одежду. Вымыл Рику и ежедневно её вычёсываю, несмотря на протесты. Рика — девушка признательная и преданная и, ежедневно валяясь посреди комнаты, вылизывает живот, хвост и лапы. Не желала ударить мордой в грязь.

Прошло ещё две-три недели, прежде чем я снова решился открыть папку. Ну что ж, я готов. Дочитаем до конца.

«Последующие события мне представляются сплошным унылым кошмаром», — прочел он.

«Синдром отмены развивался стремительно. Я превратился в скулящее, не понимающее, что происходит вокруг, существо. Меня скручивали в плеть ломающие боли. Окружал тёмный, унылый мир, в котором я передвигался: город, представляющий собой неясные тени домов, улиц и тротуаров, какое-то глухое общение на работе и с окружающими меня людьми. Общение казалось мне досадным недоразумением, даже, направленным против меня бесконечным зловредным действием, отвлекающим от непрерывных размышлений о ней.

Сколько это продолжалось я не помню. Возможно около года. Длительные разлуки сопровождалось фантомными болями в сердце, то есть долгим ощущением боли и присутствия сердца, когда уже ни боли, ни сердца нет.

Измученный, я умолял её о встрече, унижался просьбами до конца выяснить то, что она не понимает и понять не может, прежде всего потому, что это ей глубоко безразлично.

Это безразличие снова и снова вызывало чувство унижения и злону.

«Я убью тебя». Любой посторонний человек, заметив рядом с собой страдающее существо, не смог бы вести себя так, как ты. Единственный, кого ты, тебе кажется, любишь, — твой сын. Да это не любовь, это инстинкт. И любишь ты не как мать, а как самка. И чтобы не побеспокоить этого жующего грызуна, ты готова уничтожить другие жизни. А он того стоит?

— Я убью тебя, умертвлю!

— У меня паранойя! — ужасался я.

В голове мелькали мои ветхозаветные предки с их суровой непримиримостью: «жизнь за жизнь». Это справедливо.

Но там же ребёнок.

— Дети отвечают за грехи отцов до третьего колена.

— Но ты же живёшь, а её собираешься лишить жизни.

— Нет, это только видимость. Я не живу. Я просто среди всех.

— Другой вопрос, правильно ли будет её убить?

Возможно, неправильно, но справедливо. А вдруг на своём пути они с дитятей обманут и разорят душу ещё одного доверчивого человека? А если не разорят?

Ну, тогда что с того, что на земле ещё одно жалкое, трусливое, но беспощадное к другим существо будет вынуждено бороться, работать, чтобы выжить, а не беспрерывно кусать и высасывать своих близких? Что?

— А ты сможешь? — задал я себе коварный вопрос.

— Я? Смогу.

— И вот я её убил, и справедливость свершилась. И что я буду чувствовать? Ведь мальчик совсем маленький.

— Не совсем маленький, а достаточно взрослый, способный на мелкие подлости и обладает неудержимым стремлением к незаслуженной власти. И потенциально опасен.

Так что, возможно, мне его не очень жаль, как бы чудовищно это ни звучало. И он вообще не довод, чтобы пощадить его мать. Нет, конечно, его жалко — этого трусливого, маленького самовлюблённого толстячка.

А вот умрёт ли она во мне, если я ещё буду среди людей, — это вопрос.

Она перестанет существовать в этом ложном мире, в котором мы пребываем и который мне мало интересен. А во мне она умрёт?

Во мне она не умрёт.

Во мне она останется дуновением хамсина в пустыне, в моей выжженной и опустошенной ею душе. И это значит, что в себе я её не убью. И, значит, я умертвил её ложно. То есть я её вообще не умертвил.

Значит, все последующие сведения о её смерти ложные.

Что же я буду ощущать, когда она, мёртвая, станет заполнять ту пустоту моего настоящего мира, которую сама и создала? Я буду ощущать её? Возможно.

В итоге уничтожить её я не могу, потому что предательство — Иудин грех — не уничтожаются смертью. Иудин грех, как и печать Каина, не стираются переходом в другое состояние.

Возможно, неким действием угодным Богу.

Следовательно, подлость неуничтожима. Я это теперь знаю. Но другие не знают. И для других я её умертвил. За корыстолюбие, продажность и измену. И это, возможно, правильно. По крайней мере, понятно.

Иногда мне кажется, что это злоба и месть.

Но мне не за что ей мстить. Она не предпочла другого. Она даже меня не продала — она меня заложила за успех и деньги по причине возможно скорой моей смерти или болезни. В расчёте, что я погибну и меня не нужно будет выкупать.

Разве за такое мстят? За такое раздавливают. С хрустом. Как членистоногое.

И тогда подобная акция становится долгом. И ты должен её осуществить, даже если тебе это противно.

Вот, что меня и беспокоит. Безысходность.

Мне придётся это сделать. Потому, что другие не замечают. Для других она выглядит вполне приятной, милой, возможно даже доброй и правдивой, даже преданной. Как Иуда.

Тем не менее хорошо бы сделать это судьбе или року. Мне совсем не хочется.

Но придётся. Иначе моё пребывание здесь становится к тому же и бессмысленным. А я смириться с этим не могу. Пока живой.

Она позвонила мне как-то:

— Ты хотел встретиться и что-то обсудить? Давай в четверг, где-нибудь в кафе.

Хотел — не хотел, в четверг — не в четверг.... У меня что, был выбор?

Присели за столик. У неё в глазах появился страх.

— Ты мне будешь предлагать жить вместе, но я хочу жить одна. Я люблю одиночество, да и мальчик мой тебя не любит.

Я усмехнулся и ответил:

— Ты не знаешь одиночества. Одиночество любить невозможно. Одиночество не тогда, когда ты хочешь быть одна, а когда ты не хочешь быть одна и не можешь, и остаёшься одна среди всех. Это не весело скажу я тебе.

Мне было плохо. При появлении её рядом симптомы душевной болезни усилились. Временами её лицо расплывалось.

Мы уже давно не были вместе, и я чувствовал, как её промежность иссыхает. В окружении двух проросших тёмными волосами половых губ краснела сухая, безжизненная, как пустыня Кара-Кум, слизистая, которая уже и не была слизистой. По краям — высохшие выделения песчано-белого цвета с крупными острыми кристаллами какой-то кислоты. И острая боль от порезов при несуществующем совокуплении пронзила меня.

— Как же она ходит? — подумал я и очнулся. Она сидела напротив.

— А как твой драгоценный сын? Всё играет в лего? Или перешёл с интеллектуальных игр на физические — играет в «пятнашки»? Эта игра его не утомляет? Питается по-прежнему «бутиками» и чипсами? Выходит на улицу погулять или боится, мышонок? По-прежнему добивается своего, немедленно чем-нибудь заболевая? Ежеминутно звонит тебе, если ты не бывешь дома, и ноет? Ты думаешь, от чрезмерной любви к тебе? Нет. Он просто убеждён, что всё твоё время принадлежит ему. И поэтому рассказывает, как ему дома без тебя страшно. Это в четырнадцать-то лет. И в общей квартире. И ему признаться, что он боится, не стыдно, замечу. А мальчику, вообще, должно быть стыдно говорить «боюсь». Кого ты растишь? Маленького трусливого мышонка, который потихоньку будет носить к себе в норку и жевать, не обращая ни на кого внимания. Имей в виду, мышки бывают весьма опасны. Это они перегрызают сухожилия у скаковых лошадей. И первая, у кого он перегрызёт ноги, будешь ты.

— Я хочу жить и работать самостоятельно, одна, — ответила она невпопад. (Видимо нашла себе того, кто обнадёжил. Продаст он тебя, тётя. Не такая ты «цаца».)

— Хочу стать бизнес-леди.

— Ааа! Не думаю. Не те у тебя годы и не те кондиции. Ну, допустим, всё-таки получилось. Не задаром дорогая, не задаром. Задаром не бывает.

— Станешь бизнес-леди. Допустим. Сейчас продаёшь исподнее в трёх магазинах, а станешь в тридцати. И что? Это сделает жизнь интереснее? Будешь зарабатывать много больше. Тебе что, сейчас на хлеб не хватает? Думаешь, будет хватать? Ошибаешься.

— Перестанешь смотреть на картины, на роскошный вид из окна твоей комнаты, который купить невоз-

можно, а будешь разглядывать только этикетки товаров. Достижение цели обогащения, как правило, радует ненадолго, говорят.

— Умные это знают. Жадные — нет. Разберись, какая ты.

Разговор и борьба с болью меня утомили. Я задремал, а затем представил новую картину.

Дитё выросло в крупного, рыхлого, замкнутого и трусливого дядю, никем кроме Ольги не любимого и никому кроме неё не нужного. Ей, впрочем, этого и хотелось. Это ещё больше разжигает её материнскую страсть. Она по-прежнему носится с утра до ночи, чтобы заработать как можно больше на своё чадо.

Ему самому не удаётся столько, сколько ему хочется.

Ольга приходит домой усталая и, согнувшись, ложится на кушетку, чтобы успокоить ноющие суставы. Положив ладонь под щеку, закрывает глаза. Засыпает.

Через некоторое время приходит её уже взрослый бэби с искусанной и избитой мордой. Как ни старайся трусливо молчать и быть незаметным, всё равно столкновений не избежать.

Вот она лежит, продрогшая от житейской слякоти и того одиночества, которого не ожидала. Он ложится к ней. Ольга прижимает его к своему тёплому животу, чтобы согреть, и ждёт, когда он начнёт потихоньку кусать и перегрызать её сухожилия, чтобы она могла испытать необходимую от близости с мужчиной и утраченную ею боль. А утром она снова поковыляет на своих больных ногах добывать ему деньги.

Она довольна и счастлива в этой её прекрасной, заполненной уничтожающей её любовью вселенной и почти полностью лишена рассудка.

В избранном ею для жизни мире цена её предательства такова.

Что же поделаешь?

Жизнь за жизнь.

Душу за душу.

Безумие за безумие. Это справедливо.

Я снова пришел в себя. Посмотрел на неё. Она сидела, как будто не замечая моего состояния. — В глазах не искры сочувствия, только страх.

— Чего она боится, — забыл я.

— Итак, ты станешь бизнес-леди, чему я, неизвестно как, мешаю.

А как же всё-таки быть с этим: «Я твоя навсегда». «Навсегда» — плохое слово, Ольга. Опасное. В него могут поверить. И тогда придётся отвечать. «Навсегда» может разрушить жизнь. Может стать катаклизмом. Землетрясением, цунами.

— Ну, хорошо, — ответила она, — а как же ты будешь жить со мной, если ты мне безразличен?

— Мне проще. Я дал слово. Кроме того, припоминается: «Дорогой, давай жить вместе», когда ты уже меня не любила. И ничего. Или тебе так можно, а мне нет? Почему? — Она промолчала. Сил продолжать этот уже бессмысленный разговор не оставалось.

— Ты, Ольга, поиграла со мной в нехорошую игру. По существу меня уже нет. Так я заплатил за свое «навсегда», а ты? Пора рассчитываться, дорогая.

Она выжала из глаз две слезинки.

— Не убивай меня. Физически. У меня мальчик. Как он будет без меня? Я уволюсь с работы, ты не будешь меня видеть, перееду с квартиры.

— А из памяти как ты уедешь? Из моего тела? Из моего города, где я буду всё время ощущать твоё при-

существование? Из моей искалеченной чувственности, наконец?

— Мы уедем из города, из страны. Я сейчас улечу за границу, там, возможно, найду место.

— Да, Ольга, ты такая сейчас искренняя. Ты готова так защищать свою жизнь. Из-за ребёнка, следует полагать. И я сижу перед тобой, корчась от болей. И помочь мне, по крайней мере физически, можешь только ты, всего лишь раздвинув ноги, причём под смертельно любящим тебя человеком. И никакого любимого, которому бы ты была отдана, у тебя на сегодняшний день нет.

А завтра ты ляжешь под первого встречного на курорте, чтобы послезавтра его забыть.

Знаешь, сколько мужчин, сказавших «навсегда», живут с женщинами, потому что те их не могут разлюбить? Тебе это в голову не приходило?

Где тебя зачали, в чуме? Хотя, думаю, что даже в чуме, что такое долг, известно.

Теперь, о «хочу — не хочу». Далее я представил:

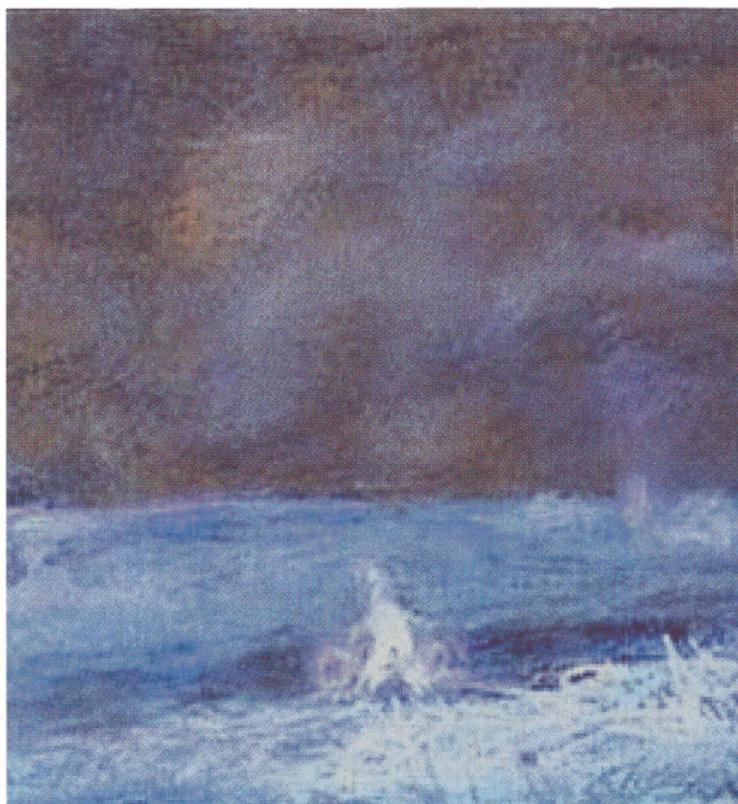
«Сейчас возьму вот эту вилку со стола, подойду и приставлю её к твоей шее. И тогда ты мне дашь прямо здесь, на столе, и не закричишь, чтобы кого-нибудь позвать, и даже испытаешь наслаждение. Потому что очень хочешь жить, тварь. Хочешь, я это сделаю?»

Но вслух не сказал.

Напугать её еблей где угодно было невозможно.

— Отпусти меня. Ты старше, ты, возможно, скоро заболеешь или умрёшь, а мне ещё ребёнка воспитывать. Я, может, встречу человека, рожу ещё ребёнка.

— Ольга, ты хоть понимаешь, что ты сейчас сказала? Ты, мне помнится, врач? Таких вещей не говорят, даже когда так думают, и если ты так думаешь, то какое же ты животное.





— Я не хочу, но я тебя умертвлю, и до твоего смертного часа я наполню тебя страхом до самых ушей. И никакой психотерапевт тебе не поможет. То, что ты сейчас услышишь, все эти три года наполняло страхом меня, когда я еще надеялся и скрывал. Послушай.

— Итак, ты собираешься рожать. Но прежде всего тебе нужно забеременеть. А как? У тебя небольшая часть единственного придатка и замурованная после перитонита единственная труба. Даже если чудом забеременеешь, то беременность, скорее всего, будет внематочная и последует операция. Ты её перенесёшь? Ты рискуешь? Ведь ты так любишь жизнь. Так любишь ребёнка. Так боишься оставить его одного. Или возможность умереть от внематочной беременности это тоже химера, доктор?

— Хорошо, допустим, ты забеременеешь нормально. Ты забыла, как при первой беременности у тебя в прямой кишке появилась большая опухоль, столь похожая на рак, что потребовалась чудовищная операция, после которой ты едва выжила. Опухоль, или огромный полип, следует думать, были гормональной причины. И какая гарантия, что эта история не повторится, и на этот раз ты просто не поднимешься, или не останешься уже глубоким инвалидом. И ты готова оставить своё дорогое дитя без мамы? И как понимать тогда твои стенания о мальчике? Впрочем, скорее всего, в той ситуации тебе уже будет безразлично.

— Теперь о геморрое. Узлы большие и опасные. А это значит — операция. До настоящего дня такие операции не прогулка. Иногда заканчиваются печально, а уж с твоим здоровьем вероятность возрастает.

— А про позвоночник ты не забыла? Тебе уже нужно писать освобождение от физических нагрузок.

— Так кто из нас быстрее заболеет и умрёт? Я бы тебе этого не сказал, если бы ты не сморозила свою бессердечную, бессовестную чушь.

— А уж старость? Ты только перестань колоть гормоны и увидишь.

— И рядом с тобой человек, который, зная всё это, включая твоего ребёнка, идёт с тобой рядом. Почему? Потому, что нет у него другого пути. Потому что «навсегда».

— Навсегда — это когда сказанное становится судьбой, до предательства.

— И ты думаешь, что найдётся ещё мужчина, который, узнав всё это, в особенности твоего ребёнка, согласится с тобой строить семью, и ты его обманешь, как меня? Сомневаюсь.

— Поищи в психушках. Только обязательно приходи на свидания в корсете и корсетном воротнике. И перед этим вколи твою смесь — себе и ему.

— И последнее: не будешь ты богатой и здоровой, а будешь бедной и больной. Это справедливо. Если вообще для тебя есть слово «будешь». Потому что убью я тебя обязательно, если это не сделает раньше провидение. Впрочем, зачем лишняя неприятная работа даже провидению. Его, наверное, тоже тошнит от тебя. Но на всякий случай молись.

— Я не прощаюсь. Я заберу у тебя картины друзей. Мне хотелось, чтобы на них смотрели глазами понимания и любви, а не твоими... Наверное, это всё.

На улице было темно и сыро. Осень или весна. Хотелось зайти к кому-нибудь из друзей, но в таком состоянии я был невесёлым собеседником, а до состояния занудливо плакаться я ещё не докатился. Поэтому, спасаясь от озноба, я брёл вдоль каналов и речек, скру-

чивающихся впереди в канат и деформирующих набережные.

Я плёлся по городу, тихими стенами баюкая свою неутихающую боль. Ломка не уменьшилась. Зашёл в заведение и выпил. Полегчало.

— Убить нужно её и немедленно. Разрубить этот паршивый узел. Покончить с этим.

Стало легче. Я вздремнул где-то. Во сне мне захотелось домой.

Там, наверное, сын пришёл. Беспокоится.

— Прикинь, шнурок. Я получил высшее образование. Ты меня теперь долбать закончишь? — это он мне.

Притащил однажды очередную свою пассиву. Маленький такой гвоздик. Рядом с ней он казался ласковым волосатым мамонтом. Они игрались.

— Ты сегодня дома ночуешь? — намекнул деликатно.

Снова зашел куда-то и выпил. Проснулся совершенно в другом месте и, очевидно, через несколько дней. Возможно, через неделю. Я не был обворован, в бумажнике нашлось немного денег. Болели суставы и спина. В кармане плаща имелись таблетки от боли. Я выпил сразу две. Потом пошёл в туалет и посмотрел на себя в зеркало — обросший, неопрятный мэн сомнительной наружности. Нужно было идти домой: помыться, побриться и сменить одежду.

Ещё на лестнице я услышал телефонный звонок. Открыл дверь и добрался до трубки. Чернов.

— Я звоню тебе три дня на мобильный, ты не отвечаешь. В чём дело?

— Видимо, мобильный сел или деньги кончились.

— Ты всё-таки отвечай, а то ты последнее время так выглядишь и такое несёшь, что все волнуются. И ещё...

Нинка заболела — ей прооперировали ухо, и она лежит вместе с Завеном, который тоже заболел, в «Покровке».

— Понял. Сейчас приведу себя в порядок и поеду.

— А к нам когда? Мы с Наташкой тебя ждём.

— А то я не достал вас последние, как я думаю месяцы, своими замогильными беседами?

— Ладно, ладно, приезжай. Мы ждём.

Лёжа в ванной в полудрёме и чувствуя облегчение от боли, я размышлял о текущих событиях.

— Вот я её сегодня-завтра убью и, наверное, произойдёт что-то страшное. Скорее всего, со мной, следует полагать. Но мне совершенно не страшно. Куда уже хуже?

Я древний человек, получается. Для меня то, что она сделала, хуже чумы. Это же зараза, от которой нет защиты. И средств лечения нет. Только сжигать!

Так велено. Я чувствую.

Почему это должен сделать я?

А кто? Встретил-то её я.

И не вижу я в предстоящем какого-либо ужаса.

Всё мне представляется спокойной, лишённой эмоций гигиенической процедурой по устранению заразы. Ничего личного. Как у палача.

Отодвигают от исполнения задуманного личные заботы: болезни друзей, родственников, необходимые практические мероприятия для окружающих, учитываемая последующее моё наказание и, возможно даже, смерть. С чем я абсолютно согласен.

— Тогда и в том мире я её достану, нет ей места нигде, — улыбнулся я.

— Боюсь, что личное в этом деле всё-таки есть.

— Может я, действительно, смертельно болен? Может быть, я действительно считаю, что меня нельзя продавать за деньги?

Что за самомнение!

А тем не менее нельзя.

— Нельзя! — услышал я голос. Но не в этом дело.

Она нарушила слово. И она лишила меня надежды. А это нехорошо.

— Любила, разлюбила. — Опять заикнулся я. Для кого это сейчас важно?

Сорок лет с её здоровьем и последующей в ближайшие два-четыре года менопаузой, когда она вообще станет не женщиной, а гербарием, и здоровый мужчина, который вдруг решит, что она ещё женщина, потому что ноги-то она раздвигать может хоть до девяноста лет, трахая её, почувствует запах тления.

Так о какой любви идёт речь.

Нет, речь не о любви.

Сейчас речь о разрушении веры.

Веры и надежды, которые, в сущности, означают мою смерть. Смерть при жизни. Пустоту.

Я уже больше никогда, никому не поверю. Не успею.

А убить её ещё успею.

— За что?

— Ни за что.

— Люблю. Не люблю.

Не убедительно.

Сейчас высушусь и поеду к Нинке Аршакуни в больницу...

В Москве и Петербурге, в дневные часы и ночью, все ходили к Нине в трудные минуты жизни поплакаться, покаяться и получить утешение.

Это была её личная служба спасения нас, грешных, в минуты сомнений, неуверенности и затруднённого понимания окружающего.

Мы приходили к ней и саморазрушались в надежде, что она соберёт нас в более пристойном и пригодном для жизни виде.

В описываемый момент Нина находилась в ушном отделении Покровской больницы, где пару дней назад ей прооперировали ухо, и потому на её голове и правом ухе была тугая повязка. Но левое ухо было доступно для слушания и понимания.

Прочтя в глазах Нины разрешение, я тут же пристроился к левому уху и поведал.

Нинка так разволновалась, что повернулась ко мне правым ухом, которое как раз ничего не слышало под повязкой после операции.

— Я на это ухо ничего не слышу, — сообщила мне Нинка в полном смятении, будто я и сам не видел.

Видимо, принесенная мною весть требовала объективного расслышивания двумя ушами. И тем не менее удерживать меня от смертоубийства Ольги и ещё более от последующего моего морального сиротства с позиций христианского мироощущения Нинки было святым делом.

Мы пошли в помещение для курения, где, как я и ожидал, Нина с безукоризненной логикой доказала мне всю несостоятельность и даже вредность моих намерений.

Попытки воздействовать на меня доводами Ветхого и Нового Завета оказались несостоятельными поскольку, как верно оценила Нина, я в этот период своего полёта по жизни находился по ту сторону добра и зла.

Тогда Нина изобрела доказательство, воздействующее на тщеславие и, следовательно, безукоризненное.

— Ты понимаешь, — сказала Нина, предпринимая новую отчаянную попытку спасти меня, — не может эта женщина тебя полностью опустошить.

— А заполнить бы смогла при её габаритах, — пытался пошутить я.

Нина шутку не приняла. Всё происходящее она воспринимала серьёзно. И что у этих христиан такие серьёзные взаимоотношения со смертью?

— Ты ведь гораздо больше и интереснее внутри, — продолжала Нина, — чтобы быть заполненным только ею.

— Это, конечно, верно, — самодовольно согласился я, — но дело в том, что сейчас мне это по барабану. Мне совершенно неважно, сколько меня осталось, а важно, чтобы этой твари не существовало вообще. Она заразна.

Я теперь, Нина, понимаю, что все её болезни, все эти помои, с которыми я столкнулся физически и преодолел, есть проявление дерьма внутреннего, которое преодолеть нельзя. Можно только уничтожить.

— Но почему ты?

— Потому что я один это вижу, Нина. И потому, что это у меня личное.

— Но ведь это преступление с точки зрения закона. Ты будешь наказан.

— Возможно. Закон не совершенен. Да это сейчас и неважно.

— Но у тебя столько друзей, без которых ты не можешь и которым будет труднее без тебя, — подошла Нинка с другой стороны.

— Они изредка, я надеюсь, будут приезжать ко мне на зону, доставляя большую радость. Мы, кстати, час-

тично избавимся от взаимной тошноты в результате частых дружеских встреч, которые, как мне кажется, являются необходимой составляющей набора дружеских чувств.

— Не делай этого, не нужно! — всхлипнула Нина под конец в отчаянии, и я подумал:

— Хорошо, что больное ухо и Завен отвлекают её от моих проблем, а то я бы совсем её доконал, милую.

Я вышел от Нины совершенно обессиленный и позвонил Ольге.

— Ты обещала мне позвонить. Я жду.

— Некогда мне сейчас звонить. Подождёшь.

Такого она себе никогда не позволяла раньше. С перепугу?

— Это ошибка, Ольга, — сказал я и повесил трубку.

— Вот и всё, — подумал я и поехал домой.

Дома открыл нижний ящик письменного стола, взял охотничий нож, ключи от машины, документы на вожделение. Спустился во двор, сел в машину, положил нож на сиденье рядом и выехал.

Я двигался по улицам города, смотрел краем глаза на нож и размышлял.

— Ты с ума сошёл? Ты же не сможешь убить человека. Это совсем не просто, говорят.

— И тем не менее я почему-то двигаюсь к её квартире, и нож у меня в руках, и я поднимусь к ней по лестнице, и не знаю: зарежу её или удавлю. Или ничего не сделаю. Не знаю. Я раньше не пробовал. Знаю только, что жить в этих муках я больше не могу.

— Так умертви себя!

— А меня-то за что? Я кого-нибудь предал?

Я увидел впереди её дом. Всё. Разговоры окончены. Сейчас остановлюсь у парадной, позвоню и скажу:

— Спускайся. У тебя две минуты. Хоть в исподнем. Иначе я поднимаюсь к тебе.

Подъехал к парадной и позвонил. Никто не отвечал.

Вышел из машины и посмотрел на окно. Света не было. Может, притаилась? Я заглянул за дом: на месте ли автомобиль?

Машины не было.

Сбежали».

Далее в папке было несколько измятых, перечёркнутых, с мокрыми разводами листов. Прочсть их было невозможно. Он испугался: «неужели здесь я её убил?»

«Так вот почему меня привезли сюда — скрывают от правосудия! И поэтому запасы еды, дров, лекарств. И поэтому никто не появляется, а может и появляется, но тайно, чтобы их никто не видел, в том числе и я».

«Только непонятно почему я в таком плачевном состоянии и потерял память?»

«И в какой момент это произошло? Когда я убил её?»

«А может, физическая боль и отчаяние так меня доконали? Потом. Припомнить сейчас не могу».

Размышляя, старик не заметил, как добрался до своего камня на берегу и прошел его в сторону мыска, окаймляющего бухту и поросшего лесом. Тут собака схватила его за штанину и потянула назад к камню.

«Да знаю, знаю я, Рика. Я специально не присел — хочу прогуляться», — он потрепал собаку по голове и продолжил движение в лес, через мысик. Пересекая мысик, старик размышлял и даже что-то бормотал себе. Присел отдохнуть он только один раз. Когда он выбрался из леса, то увидел по ту сторону мыса другую

бухточку и несколько дачных домиков на берегу. В воде плавали привязанные к колышкам металлические лодки с подвесными моторами...

«Так вот как я сюда попал; и так же отсюда уеду, если дочитаю страницы до конца, и ничего со мной не случится, когда я всё пойму».

Он довольно уверенно и быстро, всего два-три раза присев добрался до сарайчика и стал разогревать ужин. На папку он даже не смотрел. Поужинав и покормив собаку, он почувствовал, что устал, и отправился спать.

Долго не мог заснуть — ворочался, вставал, снова ложился — сон не шёл.

На этот раз не боли его беспокоили, его тревожили мысли.

Наконец, уснул.

Утром солнце, заглянув над занавеской на окне, разбудило его.

«Сегодня. Сегодня я, наверное, дочитаю».

Он вышел на согретое солнцем крыльцо, сделал зарядку, затем подошел к сараю, взял ведро и отправился на родник за водой. Вернувшись, поставил подогреваться на сковороде для себя и собаки тушёнку с гречневой кашей, налил воды в чайник и тоже поставил его на плитку для кофе.

«Ждать больше нет смысла», — вздохнул он. Затем прошёл в дом, сел на диван, включил лампу и открыл папку...

«Я вернулся к машине, открыл дверцу и сел.

Боль, снова боль, и нет надежды. Я не могу так больше, не могу! Господи, прости меня за слабость и умертви меня. Нет смысла жить, и сил больше нет. Где

я теперь найду эту стерву и успею ли? Меня так ломает. Выпить бы, но я за рулём. Не могу больше быть один!

Достал телефон и набрал Черновых. Ответил Андрей.

— Ты, кажется, звал меня в гости, только я не помню когда. — Понял он сразу.

— Приезжай.

— Я на машине. И, наверное, выпью. И, наверное, останусь у вас ночевать.

— Естественно. И Наташка по тебе соскучилась.

Культурный человек. Так он даёт понять, что Наталья, которая находится уже длительное время в отчаянии от моих визитов ещё больше, чем я сам, тем не менее примет меня, уложит и выслушает. И это несмотря на то, что у них своих забот хватает.

В каком бы горе ни находился интеллигентный человек, он всегда переживает горе других людей. Иногда острее, чем своё.

Черновы встретили меня у дверей, сняли куртку, а затем хозяин отправился на кухню, а Наталья — искать мне домашние туфли, которые я попросил. Раздевшись, я заглянул на кухню.

На небольшом столе стояла водка и закуски. Наташка постаралась. Из последних сил и денег.

Андрей Чернов — поэт, переводчик, журналист, археолог, историк и т. д. — тёмным дремучим холмом наблюдался за столом, заполняя собой всю шестиметровую кухню. Нам с Натальей осталось небольшое, для двух табуреток, пространство между ним и раковиной.

Он, как вы видите, был крупной фигурой. Даже выдающейся.

Длинные волосы до плеч. Вьющиеся. Не то серые, не то карие глаза, не то попеременно. В зависимости от освещения.

Выпили. Закусили.

— Я у вас давно не был, ребята?

— Два месяца.

— Серьёзно? Она мне сегодня нахамила по телефону.

— А ты что, никогда, никому не хамишь?

— Только не тем, кто на меня уродуется. Вон Наташка классно приготовила сосиски.

Наталья блеснула на меня очками.

— Видишь, только сел, а уже хамишь, — сказал Андрей.

— Она убежала. Я подъехал, а они убежали.

— Ну и слава Богу, — сказала Наталья.

— Почему?

— Ты всё равно её не убьёшь, — сказал Андрей.

Потом он читал «Слово...». Архаический язык в его исполнении был ужасающе прекрасен. Из тёмной глубокой щели в пышной бороде и усах выщёлкивались звуки древнего, изначального, основы, сути языка, дымящейся его плоти. Сущности народа.

В глазах Андрея, там, где-то в глубине, засветился другой, настоящий бесконечный мир его истинного пребывания.

— Вот, видно и у него там есть местечко, только не такое грязное, как у меня.

Здесь, сейчас, в этой человеческой вековой длительности была только краткая форма общения для узнавания того бесконечного и главного мира.

Андрей — послание, мне кажется. Как, возможно, и все мы. Только нам это неизвестно, а он догадывается. Догадывается, но не обсуждает.

Как и все немногие, похожие на него. Видимо, ещё не время.

И я ее убью. И она тоже будет посланием. Вернее вестью, дурно пахнувшей вестью.

— Ты должен написать о Завене.

— Не сейчас, Андрей, не сейчас.

— Если ты её убьёшь, я к тебе в тюрьму не поеду.

— А я к тебе поеду, что бы ты ни совершил, — парировал я.

Мы просидели до утра, и всё это время они безнадежно и обречённо меня спасали. Правы янки: настоящие герои те, кто безнадежно пытается. Я проспал пару часов и замечательно отдохнул. Утром всё снова навалилось.

По-моему, это всё-таки была глубокая осень. А может, лето. Во всяком случае солнце не грело, и мне было холодно. Я уже писал, что перестал замечать течение времени, но ощущение холода не потерял.

Я работал, выполнял свои обязанности и, очевидно, делал всё правильно, потому что среди окружающих не замечал никакого удивления. Иначе это каким то образом отвлекало бы меня от собственных мыслей. Собственно мысль была одна. Каждый день и каждую ночь, как только открою глаза: «Я обязан её убить».

Это было так убого, так примитивно и так неотвязчиво. В конце концов желание её убить потеряло всякую эмоциональную окраску и превратилось в голый вывод, подкрепляемый только болью безысходности. С утра и до вечера я приводил себе доводы в пользу оставления ей жизни, и каждый день заканчивался: «Я убью её. Потому что должен. Потому что предательство нестерпимо, даже если она не понимает этого. То,

что она сделала, цинично и безнравственно. Я убью её. Я должен. Это человечно.

Зачем упорно добиваться результата, жертвуя, испытывая неудобства и обиды, проявляя необыкновенное терпение, чтобы получить результат и тут же его уничтожить, добиваться человека, влюбить его в себя, чтобы тут же бросить?

Бессмыслица.

Но это по логике. А по существу — подлость. Предательство, даже не окрашенное чувством сожаления или стыда. Гнусность.

Раздавить ногтем с хрустом? Нет. Слишком эмоционально окрашено.

Просто убить холодно и бесчувственно, как она. Это правильно. Просто есть хламидия, которая маскируется под человека.

Но я не срываю маски.

Я ассенизатор, убираю дерьмо.

Но ведь цель наказания — чтобы преступник почувствовал вину. А она не чувствует. А я не наказываю. Она не человек. Я её просто убираю.

Вот именно — нечего бродить куском гнилого мяса среди людей.

Не дай Бог, вспыхнет эпидемия.

Время как-то двигалось, и физическая боль вдруг стала понемногу уменьшаться. Взамен появилась слабость, полное нежелание двигаться и чувство обречённости. Я её не видел, скорее всего, несколько месяцев.

Я медленно, с трудом передвигался по улицам, пересекал их, не обращая внимания на сигналы светофоров, гудки, ругань водителей. Как меня не раздавили, мне остаётся неясным.

— Где же наша безоглядной честности милиция? Ведь я сейчас такой подарок для вас — без сил, почти без сознания и при деньгах. — Так нет же. Ни одного поблизости.

А вот Румянцев только высунет нос на улицу и — в кутузку.

Гостинцева и Носова повязали на станции метро «Чкаловская» пару месяцев назад. У Носова до сих пор благородное негодование в глазах.

Что касается внешнего вида Заславского, то я бы его скрутил ещё дома.

Видимо, я всё-таки ближе к ментовскому народу. Звонок по мобильному. Ольга.

— Я собрала картины. Где встретимся?

Я молчу. Не могу ответить. Ненависть и ощущение её близости. Этому нужно положить конец. Пора.

— Послезавтра. В семь вечера. У Абрикосова.

Не дожидаясь ответа, отключил мобильный. Присел на скамеечку в каком-то садике на углу Некрасова и Греческого проспекта и вырубился сам.

Пришёл в себя от озноба. Шёл снег, но, очевидно, недавно, не засыпал. Двигаться не хотелось. Кое-как доплёлся до дома, снова забрался в постель под два одеяла, скрючился и начал дышать ртом, пытаюсь согреться. Тепло не приходило.

Вылез из-под одеял, налил горячую воду в большую пластиковую бутылку и снова лёг, прижав бутылку к животу. Не помогло. Измерил температуру — снова 39,5. Наглotalся таблеток и лёг.

Проснулся на следующий день полностью обессиленный, мокрый в мокром белье.

— Прямо как в кровати у любимой, — съязвил внутренний голос и умолк.

— Не чувствую арийской бодрости, — сообщил себе я уже вслух, готовясь к предстоящему, — в таком состоянии даже такое бодрое занятие, как убийство, становится непосильной ношей уже в физическом смысле. К завтрашнему дню необходимо поправиться и, как говорили мои циничные предки-профессионалы, — наточить топор. Предстоит весёлая работа.

Позвонил нескольким друзьям с просьбой завтра в первой половине дня меня разбудить. Я не доверял себе. Мог проспать завтрашний день или позабыть, что завтра — это завтра. Такое у меня последнее время случалось часто. Кроме того, взял два будильника и завёл их на утро. Потом сменил постельное бельё. Потом лёг в горячую ванну, чтобы согреться. Затем принял таблетки.

Утром я отвечал благодарностью на звонки друзей, которые продолжались примерно в течение часа. Потом начал собираться. Я был заряжен вечерней встречей, и боль или плохое самочувствие уже не играли никакой роли. Я прибуду на место. Непременно.

И убью. И закончится моя Одиссея. Как красиво. Великие древние люди убивали направо и налево.

— Как же ты это сделаешь? Ведь она же женщина. Возможно, будет плакать, умолять тебя. Как ты выдержишь? — раздумывал я.

Я здесь проблемы не вижу. Столько времени умолял её, плакал, говорил что погибаю, а она хоть бы бровью повела — гордая комсомольская жертва аборта. Для них, комсомольцев, жалость — гнилое чувство. Их научили, что жалость унижает тех, кого жалеют. Кроме собственного дитяти. А остальные только душу тревожат и мешают радостному восприятию жизни.

Так что не пожалею. Это не месть. Это акция. Нельзя ей жить. Такое, как у неё, заразно. И неизлечи-





мо. Она может многих заразить. Это просто санитарное мероприятие по очистке города.

Вышел на станции «Невский проспект», пересёк Невский и зашёл к «Абрикосову». Её там не было.

Я занял столик на двоих и стал ждать. Чувствовал себя отвратительно, но готов выдержать предстоящее. Прошло минут десять, наверное.

Она появилась в дверях, крупная, выше всех на голову, со связанными картинами в руке, пришла и села напротив меня на стул.

— Вот, я принесла картины.

Передо мной сидела уже немолодая женщина со свежим, довольно приятным, но испуганным лицом. Время пришло.

— Ну и где же та роковая уродина и красавица, уничтожающая меня, — думал я, — где ты?

Грузная, грубой фигурой немного пугающая, но лицо, хотя и с недостатками, — в целом миловидное.

— Ты хочешь мне что-то сказать? — спросил я.

— Я прошу тебя. Мы уже уезжаем. Я увольняюсь с работы. Мне кое-что предложили за границей. Я знаю, что ты не сможешь жить в одном городе со мной. Мы уедем, мы обязательно уедем. Мне очень страшно. Я боюсь. Не убивай меня!

(Боится или играет? Опять врёт? Нет, похоже на самом деле боится. Лицо осунувшееся, измождённое. Думаю, что сейчас тебе не до курортов, не до Екатеринбургов, дорогая.)

— Мне было страшно, Ольга, когда ты сообщила, что уходишь от меня из-за того, что у меня скоро либо болезнь, либо смерть. Я испугался. Ты хоть бровью повела? Ты попытку сделала, хотя бы неуклюжую, исправить это свинство?

— Нет! Тебя это не касалось.

— А? Ну, да, Ведь я же мужчина. Какой я мужчина при подобных твоих заявлениях?

— Меня не касаются твои страхи. Мало того, ты будешь бояться болезни и смерти до рвоты, всю жизнь, и ни один врач тебе не поможет, потому что этот страх в тебе уже есть. И это не моя месть, а провидения, и мы здесь ничего не можем поделать.

— А убью я тебя, потому, что это моя жизнь сейчас, её смысл, потому, что другого смысла я не вижу. Потому, что я не живу, пока живёшь ты.

— Давай, заканчивать наш разговор. Идём, я тебя провожу. — Она испугалась отказать.

Мы вышли и направились по каналу Грибоедова к её дому.

Мы шли, и я думал, что самое лучшее место на набережной канала — напротив её парадной.

— Вот мы и дошли, — сказала она.

Я посмотрел на неё и, ещё цепляясь за её мир, за то привычное ощущение желания, которое всегда переполняло меня, прижался головой к её низкой груди, к её уже дряблему, но так всегда влекущему животу и...

И почувствовал оглушающее её отсутствие. Ничто.

И ощутил внутреннее дрожание, пытаюсь удержать заполнявшее меня раньше её пространство.

Всё потемнело, ноги ослабли, и я начал медленно сползать по её животу и ногам, цепляясь взглядом за исчезающий из глаз город.

Серый асфальтовый тротуар неуклонно приближался к моим глазам, когда сознание покинуло меня...»

Старик прочёл последние строчки, закрыл папку и задумался. Страха он не ощущал, но и понять по-преж-

нему многого не мог. Он размышлял... Грех сострадания. Он привел меня сюда. Бог имеет право сострадать, но не человек. Я ничем не лучше ее, не выше. За это — болезнь любви. И за то я здесь, что написал о ней, как есть, как было. А это предательство. Вот почему я здесь.

«Я рассчитался за написанное? Рассчитался собой? Ты стёр с меня печать?»

Он ощутил тоску по друзьям, по их взбалмошной, неустроенной, тягостной жизни. По их тревогам и отчаянию, простиупающих на холстах, по их мастерским и картинам.

По улицам и площадям города, возможно, городу его тоже недостает. Он ведь его часть.

Собака забеспокоилась, почувствовала перемену в хозяине.

«Собирайся! Будешь у меня собакой-поводырем. Пока я хромаю.

Слепая собака-поводырь. Бессмыслица, Рика, как и многое в этой жизни, включая сострадание. Ты уже старая. Возможно, заболешь. Ведь собаки живут меньше людей. Я буду с тобой до самых последних дней, даже если тебе ноги откажут, и ты станешь забираться в самые дальние и скрытые уголки квартиры и, постанывая от боли, следить за мной оттуда своими слепыми глазами.

Крупная дрожь больного тела, рвота и выделения, в которых ты можешь оказаться, будут вызывать у тебя бесконечный стыд за то, что ты не можешь за собой следить.

Я буду убирать за тобой, и мыть тебя в ванной, и выносить на руках в ближайший скверик, чтобы ты посмотрела на этот бессмысленный уходящий мир, и чтобы тебе не было так стыдно.

И не отдам тебя усыплять, ибо знаю: до самого последнего мгновения твоей жизни ты хочешь быть со мной.

Несмотря на боль. Мне такое известно.

Я тоже хотел быть таким для одной женщины, но это ей было не нужно.

А мне нужно...

Потом, однажды, я проснусь и увижу около своей свешивающейся с кровати руки твой труп.

И длинный, мажущий кровавый след по паркету, отметивший путь твоего последнего подвига преданности.

И я не вспомню об Ольге, которая мертва, хотя, возможно, продолжает жить своей озабоченной, пугливой и короткой жизнью...»

Я уже понял, кто написал прочитанные страницы, но ещё не ощущаю себя этим человеком полностью. То есть не могу сказать себе: «Это я». Что-то мешает. И прежде всего то, что, вспомнив и узнав написанное в дневнике, а эти страницы можно так называть, я совершенно не помню дальнейших событий. В голове остаётся абсолютная тьма. От момента последней встречи с Ольгой до последних дней. Чёрная дыра беспомыслия.

Взглянув на дом, я сообразил, что в моём доме на острове жить зимой практически невозможно, даже если топить день и ночь. В окнах и дверях имелись значительные щели, пол не был утеплён.

И даже если топить непрерывно, то поддерживать температуру, приемлемую для жизни, можно только с ранней весны (апрель) и до поздней осени (октябрь).

То есть события, описанные в дневнике, произошли не поздней осенью, как я предполагал, а ранней весной. А осень, причем довольно тёплая, была именно сейчас.

Из этого можно заключить, что я нахожусь на острове примерно пять-семь месяцев.

И поскольку я, по всей видимости, был врачом, то путь выздоровления, который я у себя наблюдаю, меньше чем за пять-семь месяцев произойти не мог.

Бытиё же этих последних семи месяцев мне частично неведомо и, как я ни пытаюсь вспомнить, не выступает в памяти в деталях.

Я, конечно, сейчас чувствую себя лучше и моложе и готов принять, что автор записок я, но пока совершенно не вижу и не чувствую в себе ту женщину.

Я прочёл все записи о ней и верю, что так и было, но никакого узнавания не произошло. В мозгу имеется какой-то блок. Увидеть и ощутить её сейчас, как я вижу и ощущаю своих друзей, свой дом, работу, город, у меня не получается. Я продолжаю раздваиваться, наблюдая себя прежнего как бы со стороны.

Вот незадача. Для того чтобы узнать писавшего и с ним объединиться в одного человека, а подобная операция пока невозможна, — мне необходимо вспомнить эту женщину, причем не просто вспомнить, а вспомнить как «он», почувствовать её физически, ощутить её запах, те желания, которые она вызывала, увидеть её, наконец, его глазами, почувствовать волнение узнавания и боль.

Всё это пока мне недоступно.

Кроме того, ощутить эту женщину своей любовью, любовницей, представить её себе в браке невозможно, потому что описана она была в тягостном болезненном состоянии.

Только такой, как она была описана, Ольга сейчас не воспринималась.

Такой только она быть не может.

Не может быть, что я видел и под действием непрерывного «лечения», любил в умопомрачении мало переносимые брезгливым человеком, болезненные проявления её физических недостатков, так гармонирующие с её расчётливым и наглым бездушием. Это, конечно, возможно в состоянии извращённого восприятия окружающего, но я себя больным не чувствую. Хотя кто про себя знает.

Нет, в ней, вернее в моём к ней отношении, были ещё нюансы, которые следует принять.

Наверное, изредка она была другой.

Она казалась мне прелестной, с умным вопросительным взглядом серых глаз, слегка растерянных. Это я припоминаю.

Я, возможно, любил смотреть, как она ест, как она нежно и преданно смотрит и, нескладная, грубоватая, становится для меня нежной и чувственной вне её непрерывных попыток использовать меня.

Её тело, сразу слабеющее и тяжелое.

И ночь, заполненная движениями, её бесконечными ногами, охватывающими меня и не отпускающими: «побудь ещё во мне».

Я вдруг вспомнил, как во сне она протягивает свою тёплую ладонь и неожиданно нежно гладит моё бедро.

И исчезновение в её зовущем пространстве.

И её усталый мгновенный сон, совершенно беззвучный.

Такой я её тогда тоже видел вне моей тягостной любви-болезни, мрачной и унижительной.

Я был полон ею и помню: это время было временем моего удивительного, радостного существования в мире людей, как бы парадоксально это сейчас ни звучало.

Теперь нет её мира, который она сама в себе и уничтожила. По крайней мере, я его не чувствую. Он погиб.

Во имя чего? Разве есть что-нибудь равное?

Если таковой мир действительно был, о нём тоже следует вспомнить и написать. Написать. Ведь я же умею писать.

Старик вскипятил воду, взял бритву и направился к сосне. С трудом сбрил перед зеркалом на дереве усы и бороду, причесал волосы.

В зеркале он увидел и не старика вовсе, а довольно молодого человека.

Он ещё раз заглянул в зеркало и отметил: «Просто молодой человек».

Молодой человек вошел в дом, включил настольную лампу, придвинул к себе стопку чистых листов бумаги, взял один и написал:

«Я не помню...»



# Эпилог



После возвращения из Баку я, наконец, прочёл записи моего банного друга до конца.

Многое было непонятно.

Так и осталось неясным, каким образом он попал на остров, что случилось с той женщиной тогда и что происходит с ним сейчас.

Темно за окном. Ночь. Возможно, он бредёт, прихрамывая, через Поцелуев мост и размышляет...

«Полгода, как я в городе. Многие спрашивают: «Куда я пропал»? Ответить на этот вопрос трудно. То есть я тогда, когда начала восстанавливаться память, понял, что нахожусь на острове, на берегу Ладоги, где около десяти лет назад купил маленький домик с банькой.

Домик я узнал по многим приметам.

Сначала узнал удочку Румянцева, потом нитки, натянутые в баньке для сушки грибов Заславским, и его придурковатую зелёную велюровую шляпу, затем картины моих друзей, висящие на стенах в доме и таким странным, нелогичным путём (ведь работы друзей я знал лучше всего и уже давно) узнал точно, где я нахожусь.

Но как я ни напрягаю память, вспомнить, как попал на остров и кто меня привёз, я не могу.

Друзья не говорят или делают вид, что ничего и не было. Видно, в этом есть какой-то умысел и мне ещё рано его раскрывать. Ну, что ж, подожду.

Каждый день, оставляя собаку дома, чтобы она не попала под машину, я прогуливаюсь поздно вечером, когда уже на улицах редко встречаются прохожие, вдоль речек, каналов и улиц моего города, медленно, всё ещё слегка прихрамывая. Но я активно делаю упражнения и надеюсь восстановиться окончательно.

Зачастую, незаметно влекомый глубоким, скрытым от меня чувством, я прохожу по набережной канала Грибоедова под деревьями, по той стороне, что напротив её дома.

Окно её, на четвёртом этаже, покрыто давней уличной пылью, нежилое, с задёрнутыми шторами, за которыми нет полосок света.

Уже заморозки, темно, и все окна светятся, кроме этого мёртвого окна. Мне становится зябко, как на острове.

Я смотрю на окно, и мне кажется, что я плохо с ней говорил, неправильно, и она могла бы меня понять. Я не сумел объяснить, что главное, а что второстепенное, что реальность, а что иллюзия.

А впрочем, может быть, у неё и не было способности понять, а была надежда на любовь, как она её понимала.

Как у лучших, богатых, по-деловому и без иллюзий. Жизнь без иллюзий — главная иллюзия.

Как можно жить только тем, что видишь вокруг.

Как живут эти люди в квартирах за стеклопакетами?

Живут, хлеб жуют. Интересно? — Не интересно.  
Есть, спать, размножаться. Зарабатывать деньги.  
Потом — как можно больше тратить.

А потом умереть в самом красивом гробу.

Закопаться на самом дорогом месте самого недоступного кладбища под самым умопомрачительным надгробием.

Ну, не бред ли? Не химера? Ведь всё равно — труп.  
Жил мертвецом, мертвецом и остался.

— Нет?

И перед смертью вспоминать ту единственную, которую купить за деньги не получилось, или просто денег пожалел, и ещё то небольшое в жизни, что купить не удалось.

Вспоминать те редкие мгновения «по ту сторону», те единственные, когда была возможность.

И сожалеть о том, что сам или кто-то другой эти мгновения прервал и возвратился в этот тягостный обман, в этот унылый сон, который стал его жизнью.

Где-то там борется за существование Ольга.

Интересно, ей это удалось? Она стала бизнес-леди?

Возможно.

Я только знаю, что где бы и как она ни жила, она пропитана страхом быстрой болезни и смерти до основания, насквозь. И сходит с ума от страха, что я отыщу её.

Если, конечно, жива.

Но я чувствую, что жива.

Она уже знает, что жить в страхе смерти хуже, чем со смертью встретиться.

Многим это неизвестно, а она знает.

Я избавлю её от страха.

Я смотрю на своё лицо, смутно отраженное в чёрной воде канала при неярком свете уличных фонарей.

Все боятся.  
Все боятся смерти.  
Перед нею непосредственно и впрок.  
Только невинные не боятся смерти впрок.  
Не предающие.  
Остальные должны бояться. Даже если выглядят  
уверенно.  
Ольга боится.  
Жалко? Нет, не жалко.  
Почему? Не могу сказать. Мне кажется, я и так  
сказал достаточно.  
Я её не нашёл и искать пока не хочется. Пока.  
А ещё надеюсь, что провидение её разыщет.  
Если не разыщет, то разыщу я.  
И я понимаю, зачем судьба вернула мне силы. Это  
кредит.  
Чтобы справедливость восторжествовала.  
Я её разыщу! (Боже мой, я все еще болен!)  
— Раз, два, три, четыре, пять — я иду искать —  
считалка.  
— Раз, два, три... — считаю.  
Раз, два...».

18. 01. 2009

# Оглавление

Часть первая. Страсти .....	9
Часть вторая. Палач .....	139
Эпилог .....	185

**Феликс Коэн**  
Страсти по Ольге  
Грех сострадания

